

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

# СИНОПСКИЙ БОЙ



ОГИЗ  
ГОСЛИТИЗДАТ  
1946

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

# СИНОПСКИЙ БОЙ

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1946

# СИНОПСКИЙ БОЙ

(Повесть)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Шлюпки с младшими офицерами эскадры вице-адмирала Нахимова одна за другой подходили к флагманскому кораблю «Императрица Мария».

После сильного шторма, немилосердно трепавшего перед тем двое суток суда, заштилело, и даже зыбь успела улечься настолько, что шлюпки без особых усилий приставали к трапу корабля.

Мичманы настроены были празднично, взбираясь по трапу на палубу. Ещё бы!.. Во-первых, Павел Степанович не зря же вызвал их перед самым обедом: он, конечно, оставит их у себя обедать, и тут-то они разузнают как следует все новости, чтобы было с чем вернуться, кроме официальной переписки; во-вторых, они уже около месяца не сходили никуда каждый со своего судна и не видались с товарищами из других экипажей; в-третьих, наконец, подымало их настроение и то, что через них будут переданы командирам судов какие-то важные приказания насчёт будущих действий, не говоря уже о копиях с царского манифеста о войне с Турцией.

О том, что война уже объявлена, ещё два дня

назад извещалось с флагманского корабля сигналом, но штормовая погода мешала общению между судами эскадры.

Весть о войне принёс пароходо-фрегат «Бесарабия», пришедший из Севастополя. Всеми предполагалось, разумеется, что вместе с этой короткой, но весьма значительной вестью пришёл на имя Нахимова обстоятельный приказ начальника штаба русского флота, светлейшего князя Меншикова, и настала, наконец-то, пора вполне ясных отношений к турецким военным и купеческим судам, которые бороздили волны Чёрного моря бок о бок с русскими, но за действиями которых предписывалось только «наблюдать».

И вот, целое лето, с тех пор как прибыл в мае на пароходе «Громоносец» Меншиков из Константинополя после неудачных переговоров с турецкими министрами, только и делали, что «наблюдали».

Для этого от берегов Кавказа и до самого Босфора рассыпаны были небольшими отрядами крупные и мелкие суда. Но вести эту дозорную службу долгое время можно было только при помощи пароходов, которые и во время полного штиля имели способность подходить близко к парусным сторожевым судам и перекачивать на них шлангами пресную воду. Иногда же бочки с пресной водой спускались ими просто в море, а потом уже эти бочки пригоняли на буксире спущенные с судов шлюпки.

Тем же порядком, в бочках, доставлялась и зелень для команд и солонина, и часто бывало так, что офицерский стол ничем не отличался от стола матросов.

Скучно было. Время заполнялось главным образом учебной стрельбой, но что делалось в мире, об этом в открытом море неоткуда было узнать. Можно было только гадать, догадываться, делать разные смелые предположения до тех пор, пока из Севастополя не приходили другие суда на смену сторожевым и не привозили свежие новости и газеты.

Однако вплоть до поздней осени ни из этих свежих новостей, ни из газет, ни даже во время стоянки в Севастополе, когда чинились суда и запасались провизией и водой, всё-таки нельзя было узнать определённо, начнётся ли в этом году война, или европейские дипломаты сделают всё, чтобы она не возникла.

В октябре, 9 (21) числа, Меншиков послал из Севастополя к берегам Анатолии эскадру Нахимова из четырёх линейных кораблей, фрегата и брига. В предписании, полученном при этом Нахимовым от светлейшего, говорилось:

«По сведениям из Константинополя между прочим сделалось известным, что турецкое правительство дало наставление своим крейсерам, по миновании сего 9 (21) октября, в случае встречи с русскими, и буде они в меньших силах, атаковать их. Так как известие это неофициальное и следовательно со стороны нашей не должно быть принято за разрыв, а между тем такое распоряжение турецкого правительства, буде оно справедливо, может подвергнуть наших крейсеров внезапной атаке, то, в предупреждение сего, я предписываю: 1) пароходу «Бессарабия» находиться в вашем отряде; 2) вашему превосходительству распространить своё крейсерство к азиатскому берегу, между мысом Керемпе и портом Амастра, так, чтобы быть на пути

сообщения между Константинополем и Батумом. Эскадра ваша может подходить на вид берегов, но не должна без повеления высшего начальства или открытия неприязненных действий со стороны турок вступать с ними в дело».

Это предписание заканчивалось тем, что все русские суда, разбросанные в море, должны были стянуться к эскадре Нахимова. Став таким образом во главе больших уже морских сил, Нахимов предупреждал всех командиров судов, какой линии поведения им надо держаться.

«Так как Россия не объявляла войны, то при встрече с турецкими судами первый неприязненный выстрел должен быть со стороны их; те же турецкие суда, которые на это решатся, должны быть уничтожены. Я убеждён, что в случае разрыва между Россией и Турцией, каждый из нас исполнит своё дело».

Все флотские офицеры отметили тогда тон обращения Нахимова к командирам судов. Вице-адмирал не парил где-то в малодоступной выси и не гремел оттуда жёсткими словами приказа: он не отделял себя ни от командиров, ни от экипажей своих судов; «был убеждён» во всех точно так же, как и в себе. Он оставался верен себе и теперь, когда наступали грозные дни испытаний. Другим никто и не представлял себе Нахимова, иначе за что бы так любили его не офицеры только, но и матросы, называвшие его «отцом»?

Октябрь, как обычно на Чёрном море, был очень бурный, часто дул норд-ост большой силы, качавший огромные корабли, как рыбацьи лодки. Между тем эскадра Нахимова держалась, как и было ей предписано, в виду анатолийских

берегов: вся ширина Чёрного моря лежала перед ней, отделяя её от родной бухты.

Ветер бушевал кругом по несколько суток подряд, лили дожди; замороженные паруса рвались, леденели палубы, так что на них невозможно было держаться при сильнейшем крене судов; иногда свирепые смерчи крутились и двигались по морю с большой быстротой, матросы и офицеры выбивались из сил, борясь не с врагами России, а только с разгулявшимися стихиями...

Но в конце октября впервые прозвучало и слово «враги». Из Севастополя пришёл корвет «Калипсо» и привёз от Меншикова весть, что враждебные действия на Дунае со стороны турок начались: из турецкой крепости Исакчи обстреляли продвигавшуюся вниз по Дунаю небольшую флотилию мелких русских судов, причём был убит командовавший этой флотилией, капитан 2-го ранга Варпаховский, а вслед за тем турки перешли на правый берег Дуная и заняли селение Калафат, «так что следует считать, что война не только объявлена турками, но уже идёт. Поэтому и русской эскадре вменяется в обязанность задерживать турецкие военные суда, если они не будут оказывать сопротивления; если же будут сопротивляться и вступать в бой, — уничтожать их».

Однако, что касалось купеческих судов, то их приказано было пока не трогать и ждать особого распоряжения на этот счёт. Неопределённость положения всё-таки, значит, оставалась: она должна была замениться ясностью только теперь, с получением манифеста из Петербурга; кстати, точно нарочно для этой именно цели, выдался ясный, тихий и очень тёплый день.

В приказаниях Нахимова действительно была полная ясность, тем более, что они не носили названия «секретных» или «тайных» и даже совсем не были похожи на приказания.

«Отец» матросов и младших офицеров остался самим собою, — у него был свой стиль. Бумажки, выданные в штабе флагмана мичманам, были такого содержания:

«Не имея возможности за крепким ветром и большим волнением передать на суда вверенного мне отряда копии с манифеста объявления войны Турцией, я передаю их теперь и предлагаю гг. командирам приказать священникам прочитывать их при собрании всей команды.

Имею известие, что турецкий флот вышел в море с намерением занять принадлежащий нам порт Сухум-Кале и что для отыскания неприятельского флота отправлен из Севастополя с шестью кораблями генерал-адъютант Корнилов. Неприятель не иначе может исполнить своё намерение, как пройдя мимо нас или дав нам сражение.

В первом случае я надеюсь на бдительный надзор гг. командиров и офицеров; во втором, — с божьей помощью и уверенностью в своих офицерах и командах, — я надеюсь с честью принять сражение. Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика.

Уведомляю гг. командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает своё дело».



Не «приказываю», а «надеюсь»; не «предписываю», а только «высказываю свою мысль, не распространяясь в наставлениях», и в заключение — «совершенно уверен, что каждый из нас сделает...»

Небо было чистое, голубое; на море почти штиль. Оно не успокоилось совершенно, но зыбь была уже мелкая и сверкала под ярким солнцем, как битое стекло. Высокие гористые берега Анатолии, ничем не отличавшиеся издали от берегов Кавказа, перед тем несколько дней подряд заволоченные то дождем, то туманом, то низко лежащими тучами, теперь имели вымытый, праздничный вид и изумляли богатством и нежностью красок, и совершенно как-то не хотелось верить, что красивые берега эти — враждебные берега.

С корабля «Чесма» командирован был на флагманский корабль мичман Белкин, с фрегата «Кагул» — Забудский, с брига «Язон» — Палеолог 2-й. Все они, как и другие два мичмана — с кораблей «Храброго» и «Ягудила», — были народ крепкий, по-молодому энергичный, влюблённый и в море и в Нахимова как в великого знатока и моря и морской службы, такого несравненного знатока, похвала которого способна поднять каждого из них до небес.

Даже, пожалуй, мало было сказать о нём «знаток»: иной знаток мог быть высокомерен, холоден, пренебрежителен к тем, кто не успел ещё стать знатоком. Нахимов же был не только знаток, но ещё и поэт-моряк.

Для него незнание дела было нелюбовью к делу, а нелюбовь к делу — всё равно что безнравственность, преступление; если же он сталкивался с небрежностью, то это в глазах его

было не чем иным, как нарушением присяги, — совершенно бесчестным поступком.

Он был строг ко всяким неисправностям по службе, но все видели, насколько был строг он к самому себе, и все знали, что эта строгость необходима в море, что море не шутит с теми, кто вздумает не в добрый час пошутить с ним.

Биографии Нахимова тогда не было в печати, — он был слишком скромн для того, чтобы иметь биографов, — а в послужной список его попадали только казённые скучные фразы о том, где он проходил службу, когда и какой получил чин или орден. Но от старших моряков к младшим переходили рассказы о Нахимове, и каждый из мичманов, явившихся в этот ноябрьский день на флагманский корабль, их знал.

Так, известно им было, что случилось в Балтийском флоте лет двадцать назад, когда Нахимов был командиром фрегата «Паллада» — образцового фрегата, построенного на верфи в Охте под личным его наблюдением.

Изобилие шхер и вечные туманы делают плавание на Балтике несравненно более трудным делом, чем на Чёрном море, и вот, в бурную августовскую погоду, притом поздно вечером, шла крейсировавшая под командой вице-адмирала Беллинсгаузена большая эскадра из семи линейных кораблей, семи фрегатов и нескольких бригов; в числе семи фрегатов была «Паллада». Эскадра шла вблизи Дагерорда, где был маяк, однако маяка не было видно из-за низко спустившихся густых туч, а место это считалось опасным ввиду подводных камней.

На вахте «Паллады» стоял тогда лейтенант Алферьев, но командир фрегата слишком хорошо изучил Балтийское море, чтобы положиться

только на своего лейтенанта и успокоиться. Он не полагался даже и на командира эскадры, хотя Беллинсгаузен считался весьма опытным моряком, некогда совершившим плавание к Южному полюсу. Он неустанно смотрел в сторону берега, не покажется ли маяк.

И маяк блеснул — раз, два, три, — потом его снова затянуло тучами. Но Нахимов успел всё-таки благодаря этим коротким миганиям маяка определить место, на котором находилась эскадра, и, к ужасу своему, убедиться, что он идёт прямо на камни.

В это время сменяется лейтенант Алферьев (была уже полночь), и Нахимов с ним вместе ещё раз проверяет по карте свой вывод и видит, что вывод верен. Но он всего только капитан 2-го ранга, а вице-адмирал Беллинсгаузен — старик очень крутого нрава. Чтобы предотвратить аварию, нужно сделать сигнал: «Эскадра идёт к опасности!» Но это будет проступком против дисциплины: штаб-офицер не смеет учить вице-адмирала, что ему делать в море.

Наконец с минуты на минуту можно ожидать, что на адмиральском корабле будет поднят сигнал о перемене курса... Но минуты идут за минутами, никакого сигнала на адмиральском корабле не видно. И Нахимов приказал сделать то, что нужно было сделать: сигнал был дан, и фрегат «Паллада» поворотил в сторону, а за ним, разобрав грозный сигнал, повернула и вся эскадра, кроме корабля «Арсис», который весьма недолго шёл прежним курсом и пушечными выстрелами донёс адмиралу о своём бедствии, — на нём не разглядели сигнала «Паллады» или не сочли нужным с ним считаться.

«Арсис» сел на камни, дно его было пробито.

Чтобы помочь ему сняться, пришлось сбросить в воду все орудия его верхней палубы и срубить мачты. Только через два дня удалось стащить его и на буксире отправить в Або. Оказалось, что ещё два корабля могла бы постигнуть участь «Арсиса», если бы Нахимов поколебался дать сигнал и запоздал бы с ним на несколько минут: днища кораблей этих уже скользили по обочинам камней, когда делали поворот на новый курс.

Так спас этот поэт-моряк Балтийскую эскадру. Но года через два после того переведён он был в Черноморский флот, к адмиралу Лазареву, под командой которого сражался на «Азове» в Наваринском бою. На Николаевской верфи строился под наблюдением Нахимова корабль «Силистрия», и сам он был назначен командиром этого корабля.

Новый корабль участвовал в обычном практическом плавании, в котором ничто не грозило аварией в ясный день и на глубокой воде. И всё-таки случилась авария: другой корабль, «Адрианополь», выполняя эволюцию вблизи «Силистрии», был так неудачно повернут, что предотвратить столкновение его с «Силистрией» оказалось невозможным.

Нахимов был наверху, на юте, он успел только скомандовать: «С крюселя долой!» — чтобы люди при столкновении не попадали в море. По этой команде матросы и офицеры бросились вниз, в сторону, противоположную той, которая была под ударом «Адрианополя», сам же командир, как стоял на юте, так и остался.

«Адрианополь» шёл полным ходом на «Силистрию».

— Павел Степанович! Ради бога, сойдите

вниз! — кричал старший офицер «Силистрии» своему командиру, но Нахимов только поглядел на него и махнул кистью руки.

Настал страшный момент: «Адрианополь» врезался в борт «Силистрии»... Полетел вниз раздавленный двенадцативёсельный катер, закачались мачты, рухнула стеньга, обломки снастей посыпались около Нахимова, и только благодаря счастливой случайности он отделался небольшим ушибом плеча.

И весь вечер, и всю ночь, и целое утро экипаж «Силистрии» работал, исправляя повреждения, и всеми работами бессменно руководил сам Нахимов.

Но вот работы кончены, поднят сигнал: «Повреждения исправил», и старший офицер нашёл момент спросить:

— Павел Степанович, скажите мне всё-таки, отчего же вы не сошли с юта?

— Как же так, помилуйте-с, отчего не сошёл? Что же тут непонятого-с? — удивился Нахимов. — Это ведь всего только несчастный случай, а если бы вдруг сражение-с? Что же я и во время сражения должен уходить с юта? Нет-с, на то я и командир, чтобы быть всегда на своем месте и команде подавать пример.. С кого же пример будет брать команда, скажите на милость, если командир сбежит от опасности?

Но запанибрата с опасностью был он и в свои молодые годы, задолго до того, как сделался командиром корабля.

В 1824 году, двадцатидвухлетний лейтенант, отправился он в кругосветное плаванье на фрегате «Крейсер», которым командовал Лазарев. Цель плаванья этого была — охрана русских колоний в Северной Америке.

Фрегат шёл Южным океаном при очень бурной погоде. Его трепало так, что один матрос упал со снастей в воду. Кто тут же бросился спускать шлюпку, чтобы спасти матроса? Лейтенант Нахимов. Шлюпка была спущена с подветренной стороны фрегата, и вот Нахимов оглябает судно, чтобы поспеть туда, где ещё мелькает в волнах голова борющегося за свою жизнь матроса. Но налетает сильнейший внезапный шквал с ливнем, и шлюпка с Нахимовым уносится, исчезает из глаз, а на фрегате вся команда занята тем, чтобы сберечь судно, — поставить паруса, как это требовалось моментом. Не меньше как полчаса прошло в напряженнейшей работе, а тем временем прояснилось, и вспомнили, наконец, о шлюпке.

И сам Лазарев, и другие офицеры смотрели в зрительные трубы, не покажется ли где, хотя бы килем кверху, злополучная шлюпка; смотрели и матросы с марса, смотрели час, два, три... Шлюпки не было. Явно — погибла она вместе с храбрым лейтенантом и шестью гребцами при нём так же, как погиб упавший матрос.

Стало вечереть, темнеть, и Лазарев отдал приказ продолжать плавание. Паруса уже начали наполняться ветром, как вдруг один зоркий унтер-офицер с салинга закричал:

— Вижу катер! Вижу катер!

Фрегат пошёл навстречу шлюпке, и Нахимов со своей небольшой командой был спасен. Все были мокры с головы до ног, все успели почти оледенеть, но по крайней мере выхвачены из пасти океана живыми. А волнение было до того сильным, что шлюпку, так героически выдержавшую бурю, разбило о борт фрегата, когда её поднимали на боканцы.

Радость Лазарева была безмерна: очень любил он и ценил молодого лейтенанта, и в Наваринском бою Нахимов вполне оправдал эту любовь и доверие со стороны своего командира, когда был под его начальством на корабле «Азов».

Наваринский бой стал боевым крещением не одного Нахимова: тогда, на «Азове» же, вместе с ним были и мичман Корнилов, теперь вице-адмирал, и гардемарин Истомин, теперешний командир корабля «Париж», капитан 1-го ранга.

«Азову» пришлось сражаться с несколькими турецко-египетскими судами, и от его метких выстрелов взлетел на воздух флагманский корабль египетской эскадры, затонули ещё два фрегата и корвет, уничтожен флагманский корабль тунисского адмирала, наконец, сбит на мель и потом зажжён восьмидесятипушечный турецкий корабль... И признанным героем дня на «Азове» был тогда Нахимов. Он — молодой ещё лейтенант — умел уже, как никто другой, и воспитывать и обучать матросов.

Как и чем? Линьками, как это было принято во флоте? Нет. Ни с кем из офицеров не чувствовали себя матросы так свободно, как с Нахимовым, ни к кому другому не подходили они запросто поговорить о своих нуждах, и никто другой из офицеров целого флота не был так хорошо известен матросам всех судов, как Нахимов.

И все знали случай, когда Нахимов, будучи командиром «Силистрии», получил замечание от только что переведённого из Балтийского в Черноморский флот вице-адмирала Чистякова за то, что на его корабле оказался один не чисто выбритый матрос.

— Ты почему же не выбрился как следует?—

спросил Нахимов матроса, когда адмирал сошёл с корабля.

— И ведь хотел же выбриться сегодня, да, признаться, жена отговорила, смущённо объяснил виноватый, который был всегда на лучшем счету, как старый, опытный баковый матрос.

— Вот видишь ли, друг мой, как бывает: жена твоя говорит тебе одно, адмирал же совсем другое, — спокойно сказал Нахимов. — Раз начальство требует, чтобы бриться, так ты уж жену не слушай, а сейчас же ступай и обрейся как следует: не такой это большой труд.

На другом судне, у другого командира, матрос, подведший его под замечание адмирала, был бы нещадно избит линьками, а Нахимов приказал своим подчинённым, чтобы виновного никто и пальцем не тронул.

В то суровое время даже и об офицерах так не заботилось начальство, как Нахимов о матросах.

Однажды, уже в адмиральском чине, Нахимов командовал отрядом судов у берегов Кавказа. Став на якорь против небольшого укрепления Субаши, он отпустил офицеров на берег. Тут узнали они, что в лазарете лежит лейтенант Стройников, офицер корвета «Пилад», заболевший рожей.

Пошли проведать его и нашли его в жалком виде: без денег, без необходимых вещей, под маской из толстой синей бумаги, в солдатском белье. Стройников жаловался, что несколько дней не пил чаю, и просил прислать ему чаю и сахару.

Вернувшись, офицеры доложили об этом Нахимову, — и как же забеспокоился тот об участии лейтенанта чужого отряда!

— Много ли у нас денег? — спросил Нахимов



своего адъютанта, ведавшего расходами, так как сам он никогда не занимался этим.

— Всего-навсего только двести рублей,—ответил адъютант.

— Ну, что же-с, вот и пошлите-ка ему все двести! — приказал Нахимов. — Пошлите также ему белья, чаю-сахару, лимонов, провизии, какая найдётся.

— Павел Степанович, и лимонов, и провизии у нас теперь очень мало, — возразил адъютант, — и достать здесь нам этого будет негде.

— Лучше уж мы обойдёмся, а больному надо. И деньги, и чай-сахар, и лимоны, и провизия, и бельё были тотчас же отправлены Стройникову, но Нахимов не ограничился этим.

Когда эскадра снялась с якоря и отправилась дальше, он приказал направить свой крейсер «Кагул» на сближение с корветом «Пилад», которому был дан сигнал: «Подойти для переговоров».

«Пилад» подошел, и командир его явился на «Кагул» с рапортом.

Приняв рапорт, спросил Нахимов очень сухо:

— Скажите-с, вы как же это бросили своего больного офицера на берегу, почти что на произвол судьбы-с?

— Развело тогда сильную зыбь, поэтому поторопились отойти от берега, — объяснил командир «Пилада».

— Однако несколько дней уже лежит он там, и вы о нём не вспомнили-с! Как же это так, а?.. Стыдно-с! Срам-с!.. Я — человек холостой, одинокий, и это скорее мне позволительно было бы иметь такое чёрствое сердце, а не вам — отцу семейства-с! Ведь у вас есть уж на возрасте сыновья-с... Что если бы с одним из ваших сы-

мостей так поступили? Заболел бы он на корабле, — его бы и сбросили на пустой почти берег... Хорошо бы это было, а?.. Прощайте-с, больше я ничего не имею вам сказать!

Но ничего больше не сказав командиру «Пилада», он тут же распорядился перевезти Стройникова для лечения в Севастополь на шкуне из своего отряда.

Все мичманы знали и то, что унтер-офицер, который разглядел шлюпку с Нахимовым в Южном океане и тем спас жизнь ему и шестерым матросам-гребцам, потом получал от Нахимова ежегодную пенсию.

### 3

Нахимов, конечно, пригласил мичманов к обеду, так как в это время в кают-компании собрались уже все офицеры «Марии», столы были уставлены приборами, вносились дымящиеся суповые кастрюли.

«Мария» была кораблём гораздо более поздней постройки, чем такие ветераны Черноморского флота, как «Ягудил» и «Храбрый», заложенные ещё при Павле, — поэтому и кают-компания здесь была и обширней, и светлей, и лучше обставлена.

Теперь, за обедом, как и ожидали мичманы, она была полна возбуждёнными, взвинченными голосами офицеров, на все лады обсуждавших то, что, наконец, началось, — войну. И хотя война началась с Турцией, но о Турции говорилось за обедом всё-таки меньше, чем о её покровительницах — Англии и Франции.

— В сущности политическое положение вполне ясное, — говорил командир «Марии», капитан

2-го ранга Барановский — плотный, черноволосый, с несколько рачьими глазами: — Англия пришвартовалась к Франции, а Турцию взяла на буксир.

— Конечно, Турция ни за что бы не вачала войны, если бы не этот буксир, — соглашался с ним старший адъютант штаба Нахимова, лейтенант Остренó, тот самый, который ведал всеми личными деньгами адмирала и вообще всем его хозяйством на корабле и на севастопольской квартире. — Ведь это страна нищая; англичане, разумеется, дадут ей денег, а паши разберут их по своим карманам.

— А как всё-таки нищая? — спросил его мичман Белкин.

— Нищая!.. Россия в двадцать раз богаче!

— Флот, однако же, не плохой..

— Два турецких парохода я видел: хороший ход, — сказал мичман Панютин. — Нашим, пожалуй, не уступят.

— Осторожно сказано!.. Пароходы турецкие лучше наших!

— Есть и лучше, есть и хуже.

— У нас тихоходы, — потому что коммерческие, а у них есть настоящие военные... хотя, конечно...

— Что «хотя конечно»?

— Для серьёзного боя пароходы всё равно не годятся... А вот я читал в какой-то статье, что у Турции семьсот тридцать миллионов дохода... Так как же она нищая?

— Чего семьсот тридцать миллионов? — усмехнулся на этот вопрос Панютина Остренó. — Пиастров? А пиастр — шесть копеек, да и того нет... Переведите-ка на рубли, — сколько будет? Полнейшие пустяки!

— Мусульманское духовенство зато богато, — оно и раньше давало на войну деньги и теперь тоже даёт, — заметил Барановский. — У мусульман так: что ни война, то во имя пророка Магомета... Вытаскивай, значит, мулла денежки из сундука да кстати и зелёное знамя.

— Стало быть, газават? — удивился Белкин.

— Газават, не газават — пока ещё так говорить, конечно, не будут; однако до этого скоро они дойдут. Будет у них и благой мат и газават, — погодите!

— Значит, на Дунае уж сражаются? А там у меня брат — подпоручик, — сказал мичман Палеолог, обращаясь к сидевшему рядом с ним флаг-офицеру Нахимова Костыреву, тоже мичману.

— Есть слух о каком-то сражении там... Только будто бы не совсем удачном, — отозвался Костырев, услужливо наливая гостю с брига «Язон» красного вина в стакан.

— Неудачном? — быстро спросил Палеолог, поднял, как мог, высоко брови и впился в Костырева встревоженными глазами. — Это где именно?

— Не знаю, где именно, и насколько неудачно, тоже не знаю, — слышал вскользь... А вот Исакчи, говорят, наши канонерки осыпали гранатами, — лихо кивнул круглой головой Костырев.

— Сожгли? Это здорово! А на Кавказе как? Должно быть, и насчёт поста святого Николая одно враньё!

— Нет, там уже теперь турки... «Бессарабия» привезла подробности. Дело подлое: турки напали ночью и в больших силах, — а никто там этого не ждал, конечно, — раньше чем объявлена война.

— И действительно все там погибли?

— Все до единого... Весь гарнизон вырезали.

— Весь? Правда, значит?.. А что же наши? И что же мы стоим здесь, а не идём туда?

— Туда идёт эскадра адмирала Серебрякова,— успокоил Палеолога Костырев. — И будьте уверены, дадут знать тюркосам, как по ночам людей резать без объявления войны.

— А что с парохом «Колхида»? Есть подробности?

— «Колхида» сел на мель, попал под ружейный огонь с поста «Николай», не только под пушечный... Потери понёс порядочные, и мачты пришлось срубить,— однако же снялся своими средствами и ушёл.

— А турки уж к нему на своих кочермах устремились — думали, вот он, приз! Им всыпали по первое число.

— Конечно, один парохом туда же сунулся— хотел вернуть пограничный пост! Турки его большими силами заняли и артиллерии туда навезли вдоволь.

— Ничего, Серебряков им задаст пфейферу!

Нахимов сидел в замке большого стола, как всегда, когда он обедал в кают-компани. Около него разместились капитан-лейтенант Воеводский, его племянник; мичман Фельдгаузен, один из его флаг-офицеров; старший врач «Марии» Земан; судовой священник о. Лука и близко к нему — мичман Варницкий с корабля «Три святителя».

Что скажет Нахимов — вот на что всё целиком своё внимание устремил Варницкий, но адмирал в начале обеда держал себя только как хлебосольный хозяин, которому доставляет удовольствие заботиться о гостях кругом; так что и начисто лысый со лба и затылка и с обильной

перхотью на чёрной рясе о. Лука, в старший лекарь Фёдор Карлович, не привыкший ни в малейшей степени сомневаться в себе, шумоватый человек с апоплексически короткой и толстой шеей, и даже мичман Фельдгаузен, благообразный, хорошо вышколенный немчик, принимали эту заботливость адмирала как должное, — до того уж успели, видимо, привыкнуть к ней.

Однако очень возбуждённые лица и громкие голоса были у обедавших за длинным столом, и вот, подняв голову и присмотревшись ко всем очень необычными, светлоглубыми и как будто прозрачными, неожиданными для вице-адмирала глазами, Нахимов сказал, ни к кому не обращаясь, точно про себя:

— В задор входят!.. Да, признаться, и есть отчего.

Белокурые мягкие короткие волосы, заметно покаты́й лоб, несколько скуластое худощёкое лицо, однако не бледное — розовое, отчего выделялись белёсые небольшие усы, в которых, правда, не было решительно ничего воинственного, — усы для формы, длинноватый и острый твёрдый нос и правильно закруглённый подбородок, — часто видел таким Нахимова мичман Варницкий, но ему хотелось видеть его преобразившимся, сообразно с теми переживаниями, которые были не только у мичманов, но и у всех почти за столом кают-компани «Марии».

Вот долетело до адмирала, должно быть, то, что было сказано в середине стола о мусульманском духовенстве, и он обратился к о. Луке.

— Есть известие, батюшка, будто султан на совещании со своими высшими сановниками колебался.. колебался, да-с, объявлять ли войну, или подождать-с.

— Ну, ещё бы не колебаться, — поспешил

прожевать кусок курятины и отозваться о. Лука. — Дело не шуточное — война!

— Колебался, да и все министры тоже... Но вдруг вскакивает с места шейх-уль-ислам и кричит: «Да будет сабля султана остра!..» Значит, колебания прочь, объявляй войну России... Ты, султан, вынимай свою саблю, а мы, духовенство, вынем деньги. Шейх-уль-ислам, а? Это ведь поважнее пост у магометан, чем патриарх константинопольский для нас грешных... Мусульманский папа, а? И какой оказался воинственный!.. Впрочем, папы всегда бывали воинственны, особенно когда крест воздвигали на полумесяц.

— Но теперь-то уж, Павел Степанович, они, папы то есть, начали действовать обратным ходом: полумесяц натравливают на крест! Ведь что делают! — и, сказав это так, точно открытие сделал, о. Лука поглядел на Нахимова проникновенно и, выдержав необходимую паузу, потянулся к бутылке лафита.

Однако на слова о. Луки отозвался не адмирал, а лекарь Земан. Он засопел очень массивным, весёлого огненного цвета, ноздреватым носом, откашлялся звучно и сказал вдруг твёрдо, точно определил болезнь:

— И папа имеет своё веское основание для того, чтобы так поступать.

— Какое такое основание? — вскинул на него о. Лука вытаращенные глаза, держа уже, впрочем, в широкой белой руке бутылку.

— Основание это есть зависть.

— Зависть, вы сказали? — непонимающе повторил о. Лука.

— Да, вот именно: зависть... Много ли земли имеет папа от своих католиков? Скверное положение имеет папа, как это мы знаем из газет.

А между тем этот самый шейх-уль-ислам, он же и шериф, он есть пер-вей-шее лицо в Турции... после самого султана, разумеется! А духовенству мусульманскому принадлежит три четверти всей турецкой земли,—то есть, конечно, не гор и не пустынь, это я хочу сказать, а пахотной... Ну, также и под садами. Называется это — вакуф!

И Земан победоносно посмотрел на о. Луку, но тот отказался признать себя побеждённым или хотя бы убеждённым.

— Тогда, стало быть, на луну и надо было ему натравить своих католиков, а почему же у него обратный ход? И при чём же тут зависть?

Пришлось Земану объяснять:

— Французы должны, батюшка, пройти у турок курс высших наук, как им надобно относиться и к папе, и к своему духовенству: три четверти всей пахотной земли, а также садовой, — вот! А вы говорите, при чём тут зависть!

И лекарь дружелюбно ткнул большим пальцем о. Луку в локоть и поставил ему под бутылку лафита свой стакан.

— «Да будет сабля султана остра», — как будто про себя повторил, глядя на Фельдгаузена. Нахимов. — Но ведь сабля султана, как и вообще турецкие сабли, очень кривая, вроде серпа... Молодая луна, а? Полумесяц?

— Вполне похожа на полумесяц, — подтвердил, улыбнувшись, Фельдгаузен.

— Страна полумесяца, да... — как будто в первый раз поняв это выражение, удивлённо поднял негустые брови Нахимов. — И знаете ли, батюшка, — обратился он к о. Луке, — они ведь, турки, во время Наваринского сражения не придумали ничего лучшего, как построить свои суда полумесяцем... Колонна полумесяцем! Так ска-



зять, вполне раскрытые объятия для встречи врага — готовый охват с обоих флангов! Вот как-с!

И Нахимов растопырил руки, точно сам хотел удостовериться в точности своего определения. Но так как глядел он на о. Луку вопросительно, тот счёл долгом вставить:

— Однако не помогло им это: проштрафился ихний полумесяц!

— Не помогло, нет... Хотя перевес в силах и был на их стороне: у них шестьдесят с лишком судов и больше двух тысяч орудий, у нас и затем-с у французов и англичан — только двадцать шесть судов, а на них тысяча триста орудий... Вот же ведь тогда французы и англичане были наши союзники, а теперь?.. Не так много, кажется, и лет прошло, а как всё изменилось в политике!.. Да-с, но политика, конечно, не наше дело-с,—а вот тогда «Азов» очень пострадал от береговых батарей, когда входил в бухту, — так как рога-то полумесяца вон где были — на берегах-с!.. А старинное правило, батюшка, такое: пушка на берегу стоит целого корабля в море, вот как... А два орудия-с?.. Две пушки на берегу острова Корсики, отец Лука, отбились не от кого-нибудь, а от самого знаменитого адмирала Нельсона-с, вот как-с!..

— Ай-яй-яй! — укоризненно, в отношении знаменитого адмирала, покачал головой, блистающей двумя плешами, о. Лука.

А Воеводский, краснощёкий крепыш, известный во флоте тем, что не задумался броситься с корабля в море за упавшим матросом и спас его, сказал ему, улыбаясь:

— Да ведь и совсем недавно, лет пять назад, случилось нечто подобное, батюшка.

— А-а, это ты говоришь о шлезвиг-голштин-

ской береговой батарее! — оживлённо подхватил Нахимов, — да вот он, живой пример налицо, и очень близкий пример! Два датских судна против четырёх всего пушек: линейный корабль и фрегат... И в результате перестрелки корабль взорвался, а фрегат вынужден был спустить свой флаг!.. Вот как иногда опасна бывает для нашего брата-моряка пушка на берегу! Это в сорок восьмом году было-с... У береговых батарей есть ещё привычка швыряться калёными ядрами в корабли, в результате чего бывают пожары-с, и командам приходится их тушить, то есть терять дорогое время-с!.. А в Синопе, к примеру говоря, имеется, насколько нам известно, шесть береговых батарей, и не четырёх-, а шестиорудийных!.. Это уж серьёзная защита против целой эскадры-с!..

#### 4

Пароход «Бессарабия», состоявший как бы в ординарцах при отряде Нахимова, имел паруса, почему и назывался пароходо-фрегатом. Не слишком доверяли тогда пару: вдруг изменит, и что тогда делать экипажу в море? Привычные паруса казались надёжней.

Штиль продолжал держаться и на другой день, после того как Нахимов передал свой приказ командирам судов, так что только «Бессарабия» и могла двигаться вдоль берега, высматривая, не покажется ли где на горизонте та самая турецкая эскадра, которая, по сообщениям из Севастополя, покинув Босфор, направляется к Сухуму.

Где-нибудь идут враги, может быть даже и совсем близко, — в двадцати—тридцати милях, — но ведь глубокая осень, даль то в дождях, то в туманах...

Русские суда разбросаны по морю, — это план начальника штаба Черноморского флота Корнилова, — но ведь эскадра турок может оказаться гораздо сильнее каждого из небольших отрядов русских судов, и если завяжется бой, то успеет ли другой подобный отряд прийти на помощь атакованному в открытом море? Вернее всего, что нет, если даже и слышаны будут залпы многочисленных пушек. При слабом ветре будут команды только горестно смотреть в сторону боя и беспокоиться об участи своих.

Пароходов же в Черноморском флоте очень мало, — всего только шесть, те самые, за постройкой которых в Англии следил Корнилов. Все — колёсные, и из них только один «Владимир» четырёхсотильный, остальные гораздо слабее. Числится, правда, ещё несколько паровых транспортов, но боевого значения они не имеют, и если даже поставить на них малокалиберные пушки, иметь не будут.

Команде «Бессарабии» ещё за день перед тем пришлось убедиться, насколько уступает она в ходе первому попавшемуся на глаза турецкому пароходу. Приказ Нахимова догнать его и вступить с ним в бой не мог быть исполнен: турок ушёл от «Бессарабии», как от стоячей. И это видели с линейных кораблей: вместо удачи получился конфуз.

Теперь «Бессарабия» шла под самым берегом вблизи мыса Керемпе, укрытая сумерками. Перед тем адмирал требовал её «под корму» для нового приказа: замечены были с марсов флагманского корабля турецкие одномачтовые баркасы-чектырмы, которые можно было захватить, чтобы от их команд узнать, если удастся, не прошёл ли уже к берегам Кавказа отряд босфорских судов, везущий туркам французские шту-

церы, английские орудия, боевые припасы и, на транспортах, турецкий десантный отряд.

Однако поднявшийся попутный ветер помог баркасам уйти далеко, а обложной дождь совсем скрыл их из глаз. Зато навстречу «Бессарабии», уже ночью, показался турецкий пароход, вышедший из Синопской бухты.

Ночь была лунная. Гребешки небольших волн сверкали. На берегу очень отчётливо видны были и скалы, и гнездившиеся в их расщелинах пинии.

Чтобы придать «Бессарабии» вид мирного парусного судна (а такие суда у Анатолийского берега только и могли быть турецкими), матросы проворно принялись ставить паруса и закрывать трубу лиселями.

Однако, подходя ближе, турецкий пароход стал сбавлять ход: заметна была нерешительность его капитана. Наконец он, деятельно работая колёсами, описал пенистый полукруг и пошёл обратно.

Вслед ему раздался выстрел с «Бессарабии». Он должен был остановиться для опроса, но он повернул к берегу, и с него поспешно спустили шлюпки.

Сделав ещё выстрел, подошла «Бессарабия» почти вплотную. Один лейтенант с неё, несколько понимавший по-турецки, взобрался на пароход, но оказалось, что всё его начальство бежало на берег, оставалось только несколько человек матросов. Двух из них лейтенант послал на берег за бежавшими — передать им, что их только опросят и отпустят вместе с их пароходом; но, конечно, не вернулись и эти двое, хотя ждали их часа три.

Пароход имел имя «Меджире-Теджарет», это

было транспортное судно в двести сил. Его взяли на буксир и повели к эскадре как приз.

Осмотрев его, Нахимов сказал:

— Ну, вот-с, у нас, значит, во флоте одним самоварчиком будет больше... Отправить его в Николаев для надобностей порта.

Ему хотелось узнать, не зашла ли в Синопскую бухту эскадра из Босфора, но матросы с парохода и оказавшийся между ними шкипер дали согласные показания, что в Синопе только два фрегата и два корвета.

Куда же делась эскадра, которой ждали русские суда? Может быть, отряду Корнилова посчастливилось встретить её или хотя бы напасть на её след? Крейсируя от порта Амастро до мыса Керемпе в виду берегов Анатолии, трудно было угадать, что делалось в отдалённых концах Чёрного моря.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Трудно было даже и решить, можно ли, не откладывая дела в долгий ящик, напасть на турецкие фрегаты и корветы, укrywшиеся в Синопской бухте. С точки зрения здравого смысла — нужно, не только можно; по строгим правилам военной дисциплины — нельзя.

Приказы получались Нахимовым или от начальника штаба Черноморского флота генерал-адъютанта Корнилова, из Николаева, где было управление флотом, или непосредственно от начальника штаба всего русского флота князя

Меншикова, из Севастополя; а, выполняя ранее полученные приказы, он даже и не мог идти в Синоп, — он должен был нести сторожевую службу в отведённых ему границах — между Амастро и Керемпе.

С другой стороны, Синоп был приморским городом, а Нахимову было известно, что ещё в сентябре правительства Англии и Франции взяли под свою защиту территорию Турции: 29 сентября (8 октября) английский адмирал Дундас предупреждал князя Меншикова в Севастополе, что «английский флот будет защищать территорию Турции против всякого покушения русских высадить на неё свои войска, как и против всякого враждебного против неё действия русского флота».

Как можно было уничтожить эти два фрегата и два корвета, не вступая в бой с береговыми батареями Синопа? И как можно было заставить замолчать береговые батареи, расположенные на набережной Синопа, не нанося при этом большого вреда городу? А нанести вред городу — это значит вызвать на войну Англию и Францию на стороне Турции, что явно не может «содействовать видам» русского правительства.

Когда за несколько дней перед тем, только что узнав о манифесте, Нахимов оповестил об этом суда своей эскадры сигналом, он предложил командирам судов известить свои команды об объявлении войны Турции, что те и сделали. Команды радостно кричали «ура».

Но вот война уже идёт, а крылья попрежнему связаны, и первый призовой пароход приходится отправлять главным образом затем, чтобы отправить с ним донесение о турецких судах в Синопской бухте и выяснить, можно ли на-

пасть на них там, или непременно ждать их выхода в открытое море.

Нахимов знал, что ещё в начале октября Корнилов подавал князю Меншикову докладную записку о необходимости занять десантными отрядами на европейском берегу Турции, в Болгарии, — Сизополь, на азиатском — Синоп, так как и тот и другой одинаково удобны для защиты их с сухого пути небольшими силами, а рейды их могут вместить и укрыть от зимних штормов отряды русских военных судов какой угодно численности. Это позволило бы совершенно прекратить сообщение морем даже турецких берегов со Стамбулом, не только берегов Кавказа.

Может быть, этот проект Корнилова каким-нибудь образом сделался известен турецкому правительству даже раньше, чем Меншикову, что и вызвало выступление адмирала Дундаса, после которого излишне было бы обсуждать проект. Да и сам Корнилов раза два с тех пор предупреждал Нахимова о том, что или соединённая эскадра англо-французов может появиться в Чёрном море, или одна английская, которая может воспользоваться сильной разбросанностью судов, состоящих под общей командой Нахимова.

«Опять предостерегаю от англичан, — писал он во втором письме. — Вам известно, как они решительны, когда дело идёт об истреблении чужих кораблей. Я всё опасаюсь, что они выскочат из Босфора, чтобы на вас напасть».

Тогда Корнилов сидел в Севастополе, но вот теперь он сам рыщет по морю во главе эскадры пароходов, чтобы открыть, где движется или где отстает неприятель. Откроет ли? И как

поступит, если откроет? Может быть, случится так, что нужно будет вести свой отряд ему на помощь... Но не окажется ли это плохо в том смысле, что беспрепятственно уйдут из Синопа стоящие там суда? Лови их потом, в море!

Вот оно глупейшее положение буриданова осла между двух охапок сена! — раздражённо говорил Нахимов Воеводскому, ложась спать во втором часу ночи.

— Между двух ли? — отозвался Воеводский. — По меньшей мере, кажется, между грех.

— Что, разумеется, ещё хуже и ещё глупее-с... Это ты о какой третьей охапке говоришь? О князе?

— Нет, я имел в виду не князя, хотя это само собой, а те три турецких парохода, о которых поступило донесение...

— Да ведь это ещё первого числа было донесение, что вышли, идут к Сухуму. О чём ты говоришь? — возразил Нахимов. — Конечно, они уж теперь там, около Сухума... С ними ведаться Серебрякову, кстати, в его отряде тоже есть пароходы... Дрянь на дрянь-с! И разве в этом дело-с?.. Политика петербургская — вот в чём корень всех зол и напастей... Боюсь я за Владимира Алексенча, горяч он очень... Ну, да за ним, я думаю, корабли четвёртой дивизии идут следом: если начнётся, придут на выстрелы... Что-то завтра нам скажет... Впрочем, скоро уж утро, туши-ка свечи...

Как бы поздно ни ложился спать Нахимов, вставал он, по очень давней привычке, рано — в один час с матросами. Так он встал и в этот день, 5 ноября, и, как всегда, вставши, прежде всего посмотрел на барометр.

Понижения не было. Утро в люк каюты гля-



дело мутное, мглистое. Стая чёрных бакланов, вытянувшись в шеренгу и прекрасно держа равнение, летела мимо корабля куда-то кормиться. Это говорило о том, что близко к берегу подошли косяки хамсы. Значит, погода не имела намеренья круто измениться во весь этот день: хамса — рыбка мелкая, нежная, она не любит волны и уходит от неё в глубину.

Но корабли не любят штиля, обрекающего их на бездействие. И Нахимов справился, есть ли ветер. Ему ответили, что ветер зюйд-зюйд-вест. SSW, хотя и не сильный, есть.

Когда он вышел из каюты наверх, ему рапортовали, что в море ничего не замечено, на корабле же, как и на других судах отряда, шла обычная утренняя уборка.

Она закончилась в восемь утра, а около десяти донеслась с северо-запада отдалённая, однако частая, пушечная пальба.

Выстрелы то становились отчётливей, то сливались в сплошной гул. На «Марии» все заволновались.

— Сражение!

— Вот она, наконец, турецкая эскадра!

— Вся ли эскадра? Пальба не так сильна что-то...

— Кто на неё наткнулся? Новосильский?

— Эх, сколько времени мы тут торчали, и нам вот не повезло!

— О нас-то давно уж известно туркам, — они поэтому другим курсом и шли, чтобы с нами не встретиться...

Матросы на всех судах высыпали наверх, от их бушлатов зачернели верхние палубы. Ждали сигнала, какой будет поднят на адмиральском корабле, так как ветер упал. Сигналом были

вызваны пароходы «Бессарабия» и призовой, который не успел ещё уйти в Николаев. «Бессарабии» приказано было Нахимовым взять на буксир «Марию», призовому — «Чесму» и двигаться по направлению выстрелов.

Слабые машины обоих пароходов пыхтели вполне добросовестно, но двигались и двигали тяжёлые корабли так медленно, что Нахимов не раз, теряя терпение, ворчал: «Вот проклятые самовары!»

Впрочем, спешить с помощью было совершенно незачем: к часу дня, когда «Мария» и «Чесма» прошли не больше семи миль по курсу на W, пальба уже стихла, и двигаться дальше было как-то бесцельно. Неизвестно было только, разошлись ли противники после трёхчасовой перестрелки, или, если сражение кончилось победой, то чьей.

Сколько ни напрягал зрение Нахимов, оглядывая в свою неизменную подзорную трубу горизонты, море не открывало того, что на нём произошло только что — там, в направлении на запад.

## 2

Владимир Алексеевич Корнилов вышел из Севастополя в море ещё в конце октября, и не с одними пароходами только, а и со всеми кораблями четвёртой флотской дивизии, которой командовал контр-адмирал Новосильский.

Он надеялся, как писал об этом в приказе, что «если бы счастье нам благоприятствовало и мы бы встретили неприятеля, то, с помощью божьей, офицеры и команды судов, со мной отплывающих, вполне воспользуются случаем увеличить наш флот новыми кораблями».

Не истребить турецкую эскадру в открытом море, а захватить в плен и этим пополнить Черноморский флот!.. Он, начальник штаба, неизменно чувствовал себя хозяином флота, а какой же хозяин не озабочен главным образом тем, чтобы приумножить свои богатства? Поэтому не о победе над турками он говорил, — это разумелось само собою и не требовало в приказе слов, совершенно излишних, — а только о том, что команды судов его отряда должны довести турок до сознания, что им не остаётся ничего другого как спустить перед ними свой флаг.

Он был администратор, в полную противоположность Нахимову. Он выхлопывал в Петербурге средства для постройки новых судов на Николаевской верфи, для ремонта старых, для расширения доков в Севастополе, для расширения морских казарм по мере увеличения экипажей судов, для пополнения арсенала новыми орудиями и боевыми припасами и для многого другого...

Если ему отказывали в морском министерстве, он обращался непосредственно к самому царю, стараясь точными выкладками побороть его скупость, с одной стороны, и упорное убеждение, что Севастополю никто не угрожает, — с другой.

Высокий и тонкий, он казался слабым на вид и действительно утомлялся иногда до того, что, ложась на диван, закрывал глаза, бледнел, становился как бы умирающим; но несколько минут отдыха для него было достаточно, чтобы восстановить энергию, которая всех поражала.

Ничто не укрывалось от его пристальных глаз стального цвета ни на кораблях, ни в порту. Сбегающее вниз острым углом лицо его, каза-

лось бы, совсем не умело улыбаться. Между тем он был примерный семьянин и тоже, в противоположность Нахимову, отец многочисленных детей.

Он не сразу, не с юных лет, нашёл самого себя, как Нахимов. Страдая морской болезнью, он хотел даже бросить службу во флоте. Он был легкомыслен в молодости. Но вот стопку французских романов, лежавших в его каюте, выкинул через люк в море его командир, капитан 1-го ранга Лазарев, и принёс ему взамен книги по морскому делу, тоже французских авторов, а также и английских, — и Корнилов преобразился, чтобы стать со временем заместителем Лазарева в Черноморском флоте.

А Лазарев, в молодости пять лет прослуживший волонтёром на судах английского флота и считавший себя учеником Нельсона, поставил черноморцев на большую высоту сравнительно с балтийцами, так что из Севастополя, а не из Кронштадта шло всё новое в русском флоте; а Лазарев о Нахимове, когда тот был ещё мичманом, в пяти словах сказал всё, что можно было сказать о нём и через тридцать лет: «Чист душой и море любит»; а Лазарев, будучи уже полным адмиралом, не стеснялся сбрасывать свой сюртук и, засучив рукава рубахи, показывать собственноручно матросам, как надо завязывать ванты; а Лазарев любил устраивать ночные состязания всех парусных судов, несмотря на чины их командиров, и не раз, к его удовольствию, случалось на этих состязаниях лейтенантам побеждать капитанов 1-го ранга...

Очень тяжёлая была задача стать на место такого начальника флота, каким показал себя Лазарев, и только Корнилов, а не кто-либо дру-

гой, мог найти в себе силы взяться за её решение. Но готовить суда и людей к бою всё-таки совсем не то, что руководить ими в бою; и, заканчивая свой приказ по отряду, с которым выходил из Севастополя, Корнилов вполне совпал мыслями с Нахимовым.

«При могущем встретиться бсе, — писал он, — я не считаю нужным излагать какие-либо наставления: действовать соединённо, помогая друг другу, и на самом близком расстоянии — по моему, лучшая тактика».

Одно за другим выбегали из Большого рейда в открытое море суда: впереди, как разведчик, пароход. Флаг Корнилова был на двадцатипушечном корабле «Великий князь Константин».

Чёрное море осенью своенравно. То норд-ост, то «бора», как принято звать здесь северный ветер, бушуют на нём попеременно; а иногда и норд-вест не желает уступить им в свирепости. «Любить» море в такую погоду — значит, уметь с ним бороться, а для этого надобно было родиться подлинным моряком.

Но из природных моряков состояли и команды турецкого флота, — иначе эскадра парусных судов не решалась бы даже и выйти в открытое море из Босфора, да ещё заранее зная, что её стерегут и ждут там и сям разбросанные русские суда.

Если русский адмирал Лазарев гордился тем, что он пять лет учился у англичан морской науке, то учителя из Англии в изобилии присылались в ряды турецких моряков, а иногда просто поступали на службу в Турцию, принимая подданство султана и занимая во флоте высокие командные посты. Так, ещё во время

войны Турции с Россией в 1829 году, поступил на службу в турецкий флот молодой английский офицер След; теперь он уже был в адмиральском чине и назывался Муштавер-паша.

### 3

Три стодвадцатипушечных корабля было в эскадре Корнилова, кроме «Константина»: «Три святителя», «Двенадцать апостолов» и «Париж» и два восьмидесятипушечных: «Святослав» и «Ростислав»; первые — трёхдечные, то есть трёхпалубные, вторые — двухдечные. Но «Двенадцать апостолов» и «Три святителя» были почтенных лет. И Корнилов всё беспокоился, выдержат ли они без аварии шторм в открытом море.

А шторм начался с утра 1 ноября и продолжался два дня, — тот самый шторм, который выдержала эскадра Нахимова у мыса Керемпе. Опасаясь, чтобы в ночное время буря не расшвыряла суда, Корнилов приказал на «Константине» через каждые полчаса пускать ракеты, в ответ на которые остальные суда должны были зажигать фалшфейеры. Эта переключка огней в ревушей темноте показывала ему, держатся ли суда соединённо.

Шквалистый ветер то с дождём, то с градом раскачивал суда и тешился ими всю ночь, а к утру 2 ноября началась гроза, не совсем обычная поздней осенью на юге, — сверкали ослепительные молнии, и гром гремел, как канонада боя.

Когда рассвело настолько, что стали видны очертания судов, Корнилов дал сигнал: «Всё ли благополучно?» и был обрадован, получив даже и от двух своих ветеранов ответ: «Всё в исправности».

Эскадра держала путь к мысу Калиакру, но пароход «Владимир» был послан как разведчик вперёд, чтобы осмотреть турецкие порты по болгарскому берегу — Балчик, Варну, Сизополь: не скрываются ли там загнанные туда штормом неприятельские суда?

Командиром «Владимира» был капитан-лейтенант Бутаков Григорий Иванович — один из самых сведущих и энергичных молодых командиров флота, но Корнилов отправил на пароход своего адъютанта, лейтенанта Железнова, поручив ему осмотр портов, чтобы не отвлекать Бутакова от его прямого дела.

Когда в большом отдалении, в сизой предутренней мгле, раздались со стороны Варны два пушечных выстрела, Корнилов выкинул было сигнал: «Изготовиться к бою», но тревога оказалась напрасной, — просто «Владимир» слишком близко подошёл к крепости, был замечен и обстрелян из крепостных орудий, военных же судов на рейде лейтенант Железнов не обнаружил.

Их не было и в Балчике, не оказалось потом и в Сизополе, — ясно стало, что мимо этих трёх портов, с их очень удобными для стоянки судов обширными бухтами, турецкая эскадра прошла, направляясь или вдоль анатолийского берега, или гораздо мористей. А между тем Корнилов был твёрдо убеждён, подходя к мысу Калиакру, что застанет суда противника или в Балчике, или в Варне. Он даже объявил сигналом по своей эскадре: «Если открою неприятеля в Балчике или Варне, намерен атаковать его; для сего заранее изготовить пеньковые канаты с кормы... каната потребуется до 75 сажен...»

Канаты необходимы были для поворачивания судов, когда они станут на якорь, для управле-

ния ими во время боя, но Корнилов на листочке бумаги набрасывал и то, что считал нужным припомнить из опыта чужих больших морских сражений.

«Нельсон мочил колючие чехлы и брезенты на случай пожара», — записывал он. — «Стрелять надлежит в корпус судов, это предпочтительнее, чем в рангоут...» «В Абукирском сражении корабли стояли против скулы противника». «Все предосторожности против огня. Помнить «Орион» при Абукире в «Ахилл» при Трафальгаре...» «Гребные суда, если возможно, то спустить...»

«Владимир» от Сизополя пошёл в глубь залива, к Бургасу, но военных судов не нашлось и там, зато с «Константина» замечена была утром 4 ноября купеческая шкуна, идущая с юга, от Босфора, — видимо, в Варну.

Лёгкий бриг «Эней» получил приказ Корнилова: «Задержать и опросить судно и узнать о турецком и союзном флотах».

«Эней» тут же двинулся на пересечку курса шкуны и через час доставил донесение: «Турецкий флот в большом числе судов стоит в Босфоре, там же семь английских и восемь французских судов, между которыми есть и паровые, а два турецких фрегата и два корвета за день перед тем пошли в направлении на восток».

Спустя немного был опрошен также шкипер валашского судна, которое тоже шло с юга. Он подтвердил, что судов союзных держав стоит в Босфоре пятнадцать, из них шесть пароходов и восемь больших кораблей, но добавил, что отряд турецких судов, всего шесть фрегатов и корветов, крейсирует недалеко от пролива, а дней за пять перед тем три больших парохода повезли войска в Требизонд.



Наконец лейтенант Железнов, задержав в Бургасском заливе только что прибывший туда австрийский пароход под турецким флагом, узнал от его шкипера, что отряд в шесть турецких судов крейсировал в море недалеко от пролива, но потом снова вошёл в пролив.

Надежды Корнилова сразиться с турками в море и захватить их суда рухнули. Сигналами передал он своей эскадре: «Неприятельский флот в Константинополе. Якорного дела не предстоит. Канаты можно убрать».

4

Угля в трюме «Владимира» оставалось уже немного, — надо было отсылать пароход в Севастополь — пополнить свои запасы. На «Владимире» же решил вернуться в Севастополь и сам Корнилов, отправив всю остальную эскадру в распоряжение Нахимова. Новосильский должен был передать Нахимову и то, что удалось узнать от шкиперов задержанных судов, главным образом о трёх пароходах, двух фрегатах и двух корветах, — то есть то самое, что было уже известно Нахимову.

Контр-адмирал Новосильский, — один из столпов Черноморского флота, подлинный моряк на вид — широкоплечий, с обветренным, пышащим лицом, явно несокрушимого здоровья, нестарый ещё годами, лет сорока пяти, — добравшись на шлюпке до корабля «Константин», поднялся на палубу, где его встретил Корнилов.

Можно было и не вызывать Новосильского для личных объяснений, можно было просто переслать ему пакет, командировав для этого одного из адъютантов, но Корнилову хотелось по-

сетовать на постигшую его неудачу перед тем, кого он уважал. Новосильский же не одною только своей физической мощью внушал уважение.

В молодости, в чине лейтенанта, он был участником знаменитого боя брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями, — боя, из которого слабосильный русский бриг, с его восемнадцатью небольшими пушками, вышел победителем.

Это смело можно бы было принять за сказку, если бы не случилось этого в действительности здесь же, на этих самых водах Чёрного моря, 14 (26) мая 1829 года. Из двух кораблей, настигших бриг, один был «Селимиэ», десятипушечный, — сильнейшее судно во всём турецком флоте; на нём был флаг самого капудана-паши, командующего флотом; на другом же, семидесятичетырехпушечном, контр-адмиральский флаг.

Явную мысль имел капудан-паша: увеличить флот султана одним русским бригом; с «Селимиэ» раздавались даже крики на довольно чистом русском языке: «Убирайте паруса! Сдавайтесь!..» Но на эти крики с брига ответили залпом девяти орудий одного борта, и начался чудовишно неравный бой, продолжавшийся около четырех часов.

Перед боем, когда ясно уже стало, что не уйти от турецких кораблей, командир брига, капитан-лейтенант Казарский, созвал всех своих офицеров на военный совет; даже первый подавший своё мнение, младший в чине, штурман, подпоручик Прокофьев, заявил, что необходимо сражаться «до крайности», а лейтенант Новосильский добавил: «А за последней крайностью последний шаг: сцепиться с одним из кораблей противника и взорваться».

Это мнение и было принято всем советом, и перед боем Новосильский вынес из своей каюты заряжённый пистолет и подвесил его на палубе так, чтобы всем, и офицерам и матросам, было известно, где его найти в момент последней крайности. Дулом своим пистолет этот был направлен к двери крьюткамеры; выстрел из этого пистолета в крьюткамере должен был вызвать взрыв брига, а вместе с ним и турецкого корабля, — чтобы гибель «Меркурия» куплена была турками очень дорогою для них ценой.

Казарский, как командир, обратился к матросам с кратким, но сильным словом о чести русского флота, о долге перед отчизной, о том, что если придётся всем умереть, то умереть чтоб героями, истратив все средства защиты... Сняли глаза матросов, когда кричали они в ответ обычное: «Рады стараться!»

Турецкие корабли взяли бриг в перекрёстный огонь, чтобы, обрушив на него лавину чугуна, заставить его спустить флаг, но команда маленького русского судна не потеряла спокойствия: спокойно, как на ученьи, и очень метко стреляла орудийная прислуга, спокойно целились и стреляли из ружей остальные матросы...

Всё было на стороне турок: не только 184 пушки против 18, но и гораздо больший их калибр; не только гораздо более высокие борта, но и куда более надёжные по толщине; не только в несколько раз более многочисленная команда на кораблях, но и вполне уверенная в близкой и лёгкой победе...

И однако же случилось невероятное. Казалось бы, турецкие снаряды должны были в самый короткий срок обратить в кучу щепок гордый русский бриг, истребив всю его команду, но

вышло обратное: на палубах обеих кораблей валялись груды убитых и раненых, в то время как команда брига потеряла всего несколько человек, а начавшийся было пожар потушила быстро..

Вместо русских матросов сломлены были турецкие. Они покидали свои места у орудий и метались по палубам, ища спасения от русского огня. Слышны стали их возгласы «Алла!» и возмущённые крики их офицеров. Притом и повреждения на стопушечном корабле «Селимиэ» уже через час после начала боя оказались так значительны, что капудану-паше пришлось вывести его из боя: в последний раз дал залп по бригау и ушёл зализывать раны.

Но другой корабль и один был всё-таки в несколько раз сильнее брига, получившего уже много пробоин, и неравная борьба продолжалась ещё три часа... Не одна пара глаз начала уж оглядываться на пистолет Новосильского, на него самого и на командира брига: не пришёл ли тот самый момент «последней крайности»? Однако видели, что этот роковой момент ещё не пришёл: лицо Новосильского было так же далеко от беспокойства, как и Казарского.

Напротив, забеспокоился командир турецкого корабля, адмирал. Он видел, что паруса на его судне наполовину сбиты, потери в людях очень велики, — ещё немного, и корабль будет лишён способности двигаться; абордаж же при таком упорстве русских мог кончиться только тем, что оба судна взлетели бы на воздух, в этом он несколько не сомневался и был прав, конечно. Поэтому он прекратил обстрел брига и даже постарался уйти от него на приличное расстояние.

Так необычайно, почти фантастично, кончился

этот бой, единственный, не имеющий себе подобных в истории всех фактов земного шара. И если Казарский давно уже умер, заработав себе своим подвигом памятник в Севастополе с надписью: «Потомству в пример», то сподвижник его Новосильский остался живым примером для матросов и молодых офицеров, с георгием в петлице и пистолетом, попавшим, по особому рескрипту, в его герб.

Он и был потом примерным командиром — сначала брига «Меркурий», а после стопушечной громады «Три святителя». Команда этого линейного корабля по чистоте и быстроте всей работы во время практических плаваний была признана лучшей в целой дивизии, а добиться этого в среде таких строгих знатоков и ценителей морского дела, как черноморские моряки, было далеко не так легко и просто.

Чем же и как добился этого Новосильский? Жестокими наказаниями, которые применялись другими командирами? Нисколько. Опять только личным примером, а линьки он совершенно изгнал из обихода жизни на своём корабле, подражая в этом Нахимову; и его не только матросы любили, но к нему под команду стремились попасть молодые офицеры и считали за счастье, если удавалось попасть.

— Фёдор Михайлович, дорогой мой, здравствуйте! Мне вам кое-что надо сказать, — обратился к нему несколько суетливо Корнилов, когда тот вошёл на палубу.

— Здравствуйте, Владимир Алексеевич, — и, выжидающе улыбнувшись только, но считая совершенно излишним какой бы то ни было вопрос, Новосильский утопил в своей мясистой тёплой руке узкую и холодную руку Корнилова.

— Да, что-то не повезло нам о вами, Фёдор Михайлович, — и я решил вас бросить на произвол судьбы, а сам отправляюсь сейчас в Севастополь, вот что-с, — быстро и отчётливо проговорил Корнилов. — Но кое о чём потолкуем с вами у меня за чаем, пойдёмте-ка... На турок я сердит за их скаредную осторожность, в поясницу мне вступило, и вообще я совсем не в духе...

Корнилов не преувеличивал. В пояснице он действительно чувствовал боль, отчего и ходить и сидеть мог, только держась совершенно прямо, боевое настроение его упало, — нстрачен был почти весь его запас; кроме того, появилось беспокойство о многом, что делалось в Севастополе, начатое им лично и не доведённое ещё до конца, но что должно быть доведено до конца в самом скором времени, а в его отсутствие может непростительно затянуться.

Олицетворённое спокойствие — Новосильский, сидя в каюте Корнилова, представлял собою как бы умышленный контраст хозяину каюты. Он и говорил расстановисто, точно с усилием подбирая слова, и медленно глотал чай, и ещё более неторопливо посасывал свою короткую трубку с чубуком из соломенно-жёлтого янтаря.

— По воробьям из пушек, буквально по воробьям из пушек выскочили мы в море с такой эскадрой, — возбуждённо говорил Корнилов. — Ну что такое какие-то там три турецкие парохода и прочее? Мелочь!.. Турки боятся выходить из пролива, тем более в такие погоды... А точнее, они хотя и выходят иногда порядочным отрядом, но понюхают, чем пахнет из Севастополя, и уходят как это мы узнали от австрийцев... А слух о том, что они к Сухум-Кале по-

шли, мне кажется заведомо ложный, чтобы только сбить нас с толку и заставить попусту тратить силы.

— Может быть, — отозвался Новосильский, так как Корнилов смотрел на него вопросительно.—Может быть, и ложный... На войне ложь— во спасение.

— Для турок — во спасение, для нас — в ущерб, — возбуждённо подхватил Корнилов. — Суда зря изнашиваются, люди зря устают, и если случится принять противника всеми нашими силами, а половина кораблей будет в это время ремонтироваться, то что тогда делать?.. Нет, уж вы, Фёдор Михайлович, повидаться-то с Павлом Степанычем повидайтесь и передать ему всё, что надобно, передайте, а эскадру свою ведите-ка домой, — нечего её трепать раньше времени.

— Всю эскадру вести в Севастополь? — спокойно спросил Новосильский. ,

— Стопушечные во всяком случае все, — тут же ответил Корнилов. — Я рад, конечно, что старики наши браво выдержали шторм, но так ли браво выдержат они второй подобный, это ещё вопрос... Их отвести непременно, а с ними и остальные тоже: у Павла Степаныча сил довольно на случай чего... А я так пришёл к убеждению, что даже и за-глаза довольно.

— Но ведь может статья, что у Павла Степаныча свои соображения по ходу дела у тех берегов, как же тогда быть, Владимир Алексич?

— По ходу дела у берегов Анатолии? — оживлённо подхватил это замечание Корнилов. — А что именно? По какому «ходу дела»? Вы полагаете, что турецкая эскадра всё-таки прошла мимо нас, а?

Явное беспокойство начальника штаба послышалось Новосильскому не только в этих торопливых вопросах, но и в самом тоне голоса, каким они были сказаны, и глаза Корнилова возбуждённо блестели; поэтому, почувствовав необходимость его успокоить, ответил Новосильский:

— Едва ли могла проскочить незамеченной нами эскадра в семь-восемь вымпелов... Это едва ли. Но я не о том хотел, а вот тот же самый шторм, который нас трепал...

— Ну да, разумеется, конечно! — перебил его Корнилов. — У Павла Степаныча тоже есть старики — «Ягудиил» и «Храбрый»... Что ж, если они пострадали, заберите их с собой, а ему оставьте два восьмидесятипушечных... Словом, это уж сделаете по его усмотрению... Там у него ещё и бриг «Язон»... И бригу, и команде брига тоже следовало бы уж дать отдых...

Минуты через две-три, так же проникновенно глядя в прочное, выдубленное морскими ветрами лицо Новосильского, говорил Корнилов:

— Что же они, летучие голландцы, что ли, а не турки, что могли проскочить мимо нас незамеченно?.. Предположим даже, для полноты всех вероятностей, что они проскочили, держась того берега, — то там ведь только один удобный порт, Амастро, но он под наблюдением Павла Степаныча..

— Да, Амастро и ещё Пендерекли, — уточнил Новосильский.

— Пендерекли очень близко к Босфору!

— Близко, конечно... Но при необходимости отстояться, могли бы они завернуть и в Пендерекли, — ответил на пристальный, даже, пожалуй, строгий, взгляд Корнилова Новосильский.



Корнилов ещё внимательнее взгляделся в небольшие, заволоченные синим дымком трубки карие глаза контр-адмирала и вдруг ударил пальцами правой руки по столу, как по клавишам рояля.

— Ну, что же, могли бы, так могли бы! Значит, если даже допустить, что они там, — попадают они, когда двинутся дальше, прямо под пушки эскадр вашей и Павла Степаныча... Но вероятнее всего, что они не там, а пока ещё в Босфоре, и неизвестно, выйдут ли, или постесняются... Ведь как мы справляемся о них и делаем опросы, так и они о нас... Так что вы, Фёдор Михайлыч, сделайте именно так, как я вам сказал, а потом следом за мной идите в Севастополь.

## 5

Эскадра Новосильского, вытянувшись в кильватерную колонну, двинулась на юго-восток, взяв курс на мыс Керемпе, вблизи которого, как это было известно, держался со своими кораблями Нахимов.

Корнилов же, пересев на пароход «Владимир», долго любовался стройными движениями уходивших судов, поймавших всеми парусами свежий попутный ветер и представлявших картину, привлекательную даже и не для моряка.

Но сам он медлил отдавать приказ следовать в Севастополь. Он поручил лейтенанту Железнову как можно точнее определить, каковы запасы угля в трюме, — нельзя ли ещё «поболтаться», как он выразился, в море; и когда Железнов доложил, что угля, как он убедился, ещё достаточно, что смело может хватить его ещё на

целые сутки хорошего хода, Корнилов хлопнул в ладоши, радостно вскрикнул: «Брависсимо!» и приказал Бутакову идти по направлению к порту Амастро.

— Для очистки совести — исключительно только для очистки совести — мы непременно должны побывать ещё и в Амастро, — возбуждённо говорил он, обращаясь то к Бутакову, то к Железнову. — Если турок нет ни в Балчике, ни в Варне, ни в Снзополе, ни в Бургасе, — нет и не было даже, то какой же из этого можно сделать вывод? Только один и единственный, что никаких крюков они делать не намерены, а пойдут в Требизонд прямым рейсом, что и было нами предусмотрено, когда пятая дивизия получила своё назначение.

— Кажется, ваше превосходительство, «Коварна» крейсирует около Амастро, — сказал Бутаков, которому несколько горбатый, широкий в переносице нос придавал особую воинственность; это был крепкий, высокий человек, соединявший в себе большие знания морского дела с не менее большою смёткой.

— «Коварна» или другое судно, — слегка поморщившись при этом замечании, возразил Корнилов, — но суть дела в том, что, по прямому смыслу приказа князя, наше судно не имеет права заходить в самый порт, а мы, уж так и быть, на свой страх и риск зайдём, так как тут, на месте, выясняется необходимость в этом.

Несколько помолчав, Корнилов добавил:

— Зона между Амастро и Босфором для нас совсем запретна, по соображениям петербургской политики... А между тем турецкая эскадра, может быть, стоит в Пендерекли... Соображения министерства иностранных дел доходят до нас с

очень большим запозданием, а турецкая эскадра движется, то есть имеет полную возможность двигаться гораздо быстрее... И кто будет отвечать в случае чего, боже сохрани, — мы или чиновники министерства?

Ничего не приказывал, говоря это, Корнилов. Он только глядел при этом на Бутакова серьёзным, даже строгим взглядом, и Бутаков, поднеся руку к козырьку фуражки, по-нахимовски сидевшей на его вытянутой спереди назад голове, отозвался вполголоса:

— Есть, ваше превосходительство, — и отошёл.

Через четверть часа, хлопотливо работая лопастями колёс, «Владимир» шёл уже не на Амастро, а несколько западнее, на порт Пендерекли, хотя сам Корнилов этого и не знал. Ему только хотелось, чтобы утром, когда, по всем расчётам, будет виден анатолийский берег, можно было узнать что-нибудь положительное и относительно Пендерекли.

Можно было не посылать к Нахимову всю эскадру Новосильского, если бы у Корнилова была только одна цель — оставить в распоряжение Павла Степаныча два восьмидесятипушечных корабля: «Ростислав» — новый корабль и «Святослав» — старой постройки. Их командиры и без Новосильского могли бы довести свои суда до мыса Керемпе и передать всё то, что хотел передать Корнилов.

Но Корнилов про себя верил совсем не в то, что говорили шкиперы задержанных у румелийских берегов шкун, а в то, с чем он свыкся уже в своём представлении, начиная с минуты выхода корабля «Константин» из севастопольской Большой бухты в открытое море: эскадра турецкого

адмирала покинула уютный Босфор и идёт на восток; эта эскадра должна стать добычей Черноморского флота.

И ложась спать, когда совершенно почернело море (небо было плотно и сплошь задёрнуто тучами), он таил в себе уверенность в том, что на рассвете увидит в отдалении, неясные, но желанные очертания турецких судов. Тогда «Владимир», не обнаруживая себя, пошёл бы к обеим дивизиям — четвёртой и пятой, которые должны к тому времени соединиться, и он, Корнилов, принял бы над ними начальство в предстоящем бою. А так как русские силы были бы подавляющими сравнительно с турецкими, то турецкому адмиралу не оставалось бы ничего другого, как сдаться.

Боль в пояснице, которую почувствовал Корнилов днём, стала гораздо чувствительнее, когда он лёг; и долго ворочался он на узкой койке, стараясь отыскать такое положение тела, когда можно бы было забыться. Но в конце концов усталость, мерная работа машины и лёгкое покачиванье парохода — всё это его усыпило, и проснулся он только на рассвете, когда берег отделился уже от моря, — индигово-синяя узкая полоса от широкого белесого полотнища.

Тумана не было, но дали моря всё-таки были подслеповаты от очень мелкого, похожего на туман, когда он поднимается, дождя. Извилистыми рядами, как чёрные бусы, низко, над самой водой, летели, дружно действуя широкими крыльями, бакланы.

Корнилов, поднявшись на капитанский мостик, пристально глядел по сторонам в зрительную трубу. Его боль в пояснице не утихла за ночь, но он старался о ней не думать и хотя морщил-

ся при движениях, но, стискивая зубы, превозмогал её.

Бутаков привёл свой пароход на высоту Пендерекли. Корнилов же знал и помнил только то, что он приказал идти к Амастро, и даже не спрашивал, какой это городок белеет там, на берегу, в глубине небольшого залива.

Его внимание привлекли очень зыбкие, даже и в трубу видимые смутно, верхушки мачт нескольких судов к северо-востоку, и он всё силился сосчитать, сколько там было судов. Уставали глаза, тем более что всё колыхалось: в капитанский мостик, и море около, и смутные мачты этих загадочных судов.

— Это, конечно, эскадра Павла Степаныча, — сказал, наконец, Корнилов лейтенанту Железнову, — только я никак не могу сосчитать, сколько там кораблей... Ну-ка вы, у вас глаза помоложе моих... и не болит так некстати поясница, как у меня. Поглядите-ка, вы скорее сосчитаете их.

Железнов прильнул к трубе прищуренным глазом.

Это был любимый флаг-офицер Корнилова, а стать любимым флаг-офицером такого требовательного адмирала, как Корнилов, было не так-то легко. Однако всё, что ни приходилось делать в штабе Железнову, он делал, казалось бы, без малейших усилий: он был как будто прирождённый адъютант, этот ловкий во всех движениях, девически-тонкий в поясе, круглолицкий, охотно и часто улыбающийся блондин, который если и хотел придать некоторую важность своему лицу, то только хмурил свои почти безволосые брови и старался глядеть всподлобья.

— Шесть вымпелов, ваше превосходительство, — сказал он, не отнимая трубы от глаз, а Корнилов подхватил с живостью:

— Ну, вот! Шесть, действительно шесть! Мне в самому так казалось, только я боялся ошибиться... Шесть и должно быть у адмирала Нахимова: «Мария», «Чесма», «Храбрый», «Ягудил», затем «Кагул» и... и, повидимому, «Коварна», а бриг «Язон», может быть, послан был охотиться за турецкими каботажными...

— Сейчас штиль, ваше превосходительство, — осторожно напомнил Бутаков, стоявший около и тоже глядевший на эскадру в свою трубу.

— Я вижу, что штиль. И «Язон» мог быть послан совсем не сейчас, а когда был ветер, — недовольно возразил Корнилов. — А вон там пароходный дымок, видите? Это куда-то послал Павел Степаныч «Бессарабию»... Только не сюда, к Амастро, а в сторону Севастополя... Ну да, «Бессарабия» идёт с донесением в Севастополь, а это совершенно лишняя трата угля, и нам надо бы остановить этот наш пароход.

— Наш ли? — усомнился Бутаков, повернув свою трубу в сторону дымка.

Он был в очень неловком положении. Вечером ему казалось, что он отлично понял намёк своего начальника вести «Владимир» к Пендерекли, и он добросовестно вычислял, где в тот момент находился его пароход, чтобы не случилось ошибки.

Ошибки не случилось как будто, однако адмирал, показывая в сторону Пендерекли, говорит «Амастро», и доказательство этого налицо: эскадра Нахимова к востоку от Амастро, где она и должна была стоять теперь, в мёртвый штиль, и пароход, который держит курс на Се-

востополь, не может быть никаким другим, только «Бессарабией», но всё-таки...

— Мне кажется, что это не «Бессарабия», — сказал он, однако не очень уверенно.

— Вам кажется? — несколько иронически подхватил Корнилов. — Хорошо, сейчас мы это узнаем... Полный ход и за ним!.. К Павлу Степанычу мы всегда успеем, а если вы открыли, что это турок, тем лучше! А вы что думаете насчёт этого парохода? — обратился Корнилов к Железнову.

— Мне бы не хотелось, чтобы это была «Бессарабия»... Я предпочёл бы турка, ваше превосходительство, — политично ответил Железнов, который не мог ничего разобрать, кроме полоски дыма повыше и другой, более плотной, полоски судна пониже.

— Он предпочёл бы! — весело отозвался Железнову Корнилов. — Я сам предпочёл бы это! Попробуем сблизиться, узнаем...

И «Владимир» пошёл за уходившим к югу пароходом, оставив в стороне эскадру из шести вымпелов. А между тем именно то, что так жадно хотел встретить в открытом море Корнилов, стояло перед его глазами: эскадра эта была не Нахимова, а старого турецкого адмирала Осман-паша, такого же участника Наваринского боя, как и сам Корнилов, и Нахимов, и Истомин... В его эскадре было пять фрегатов и корвет.

## 6

Полчаса самого быстрого хода, какой только могла развить четырёхсотсильная машина «Владимира», — и стало возможно уже разглядеть трубу и мачты парохода, за которым гнались. Одна-

ко теперь и Бутаков не говорил уверенно, что это не «Бессарабия»: если эскадра оказалась нахимовской, если, вместо Пендерекли, «Владимир» вышел к порту Амастро, то, разумеется, пароход мог быть и «Бессарабией».

Но «Бессарабия» имеет всего двести двадцать сил, так что особого труда не будет догнать её или, по крайней мере, подойти к ней настолько, чтобы оттуда разглядели сигнал адмирала, а направление обоих пароходов одно — на Севастополь.

Корнилов почти безотрывно наблюдал рангоут парохода и трубу его, которые становились всё отчётливей, но ходом «Владимира» он был недоволен. Он волновался. Несколько раз срывалось у него с языка разочарованно:

— Неужели это в самом деле «Бессарабия»?.. Какая досада!

Но прошло ещё три четверти часа, и он сказал Железнову:

— Ага, нас там заметили наконец!.. И, кажется, принимают за турок! Смотрите!

Железнов взял корниловскую трубу и воскликнул:

— Меняют курс к берегу! Вот так умницы!

— Прикажете, ваше превосходительство, итти на пересечку?— спросил Бутаков.

— Разумеется! И поднять опознавательный сигнал, — приказал Корнилов.

Ясно было, что с того парохода так же точно наблюдали за «Владимиром» и оставались в недоумении, чей это пароход

Со стороны эскадры в шесть вымпелов, оставшейся довольно далеко уже позади, никакого вмешательства в действия пароходов не могло быть: стоял попрежнему штиль. И когда минут



через двадцать преследуемый «Владимиром» пароход снова повернул в море, Железнов решил:

— «Бессарабия»! Разглядели, что мы — своя... Оповозательный сигнал помог...

На лице Корнилова сквозило явное неудовольствие, и он проговорил сердито:

— Чорт знает что! Отчего же они видят сигнал и не отвечают?.. Григорий Иванович! Прикажете поднять русский флаг!

Бутаков бросился исполнять приказ, и результаты сказались вскоре: пароход вдруг пошёл назад, навстречу «Владимиру», но... поднятый на нём флаг был турецкий.

— Вот вам и «Бессарабия»! — торжествующе обратился Бутаков к Железнову.

Он мог торжествовать не только потому, что, усомнившись в самом начале, оказался теперь совершенно прав, но и потому также, что торжественно было и лицо Корнилова. Не то, чтобы мелко радостно, а именно торжественно: перед ловцом появившись, сам на ловца бежал зверь....

Однако бежал он недолго: разглядев русский флаг, там круто повернули снова назад. Но этот манёвр был уже бесполезен: ещё несколько минут, и «Владимир» подошёл к турецкому пароходу на пушечный выстрел.

По знаку Корнилова, этот выстрел и был сделан, — ядро шлёпнулось около самого носа парохода... Вдруг пароход, стоявший к «Владимиру» левым бортом, окутался пороховым дымом, блеснули жёлтые огоньки, раздался грохот орудий... Огоньков насчитано было пять: пароход оказался десятиорудийным.

«Владимир» имел небольшое преимущество: всего на одно орудие больше, но из его пушек

три было пексановских — шестидесятивосьми фунтовых, так что сила его залпа значительно превосходила силу залпа турецкого парохода. Однако капитан этого парохода не спустил флага, как ожидал Корнилов, он решил сражаться.

Как узнали потом, он был черкес родом, мамелюк адмирала египетского флота, Саида-паши, человек мужественный, уже не молодой.

На залп его парохода ответил залпом «Владимир», и ядро сбило флагшток с турецким флагом, но тут же проворно поднят был новый флаг.

Так начался в десять часов утра 5 (17) ноября 1853 года на Чёрном море первый в истории флота бой парохода с пароходом, причём оба они были колёсные. Раскаты орудийных залпов этого именно боя и донесли до эскадры Нахимова, вызвав со стороны флагмана попытки помочь своим.

Не нужна была, впрочем, эта помощь: матросы «Владимира» стреляли гораздо лучше турецких, то и дело дававших перелёты.

Лавируя около турецкого парохода, Бутаков заметил, что кормового орудия он не имеет и лишён будет возможности защищаться, если стать ему в кильватер и открыть по нем продольный огонь.

— Так можно скорее заставить его сдаться, — говорил Бутаков Корнилову об упорном капитане парохода.

«Владимир» стал за кормой противника, но успел сделать один за другим только два залпа, как турок повернулся к нему бортом и, отстреливаясь, решительно направился к берегу.

Между тем уже около трёх часов тянулась перестрелка, и видно было, что турок достаточно побит: на корме зияло большое отверстие. Корни-

лов опасался, что пароход затонет и придётся спасать на шлюпках его команду, а приза не будет.

— Сблизиться на картечный выстрел,— приказал он Бутакову.

Трудно было предположить, что меткая пальба из орудий, нанеся видимый вред и корпусу и рангоуту судна, не вывела из строя многих его защитников, однако сопротивление не слабело, хотя ни один человек не пострадал на «Владимире».

— Картечь и абордаж!.. Это единственное, что осталось,— возбуждённо говорил Корнилов и, обратясь к Железнову, добавил:— Сойдите-ка в каюту, принесите мне мой пистолет... А то вдруг при абордажном бое может оказаться, что их команда больше нашей... Может быть, там ещё и рота солдат, — ведь неизвестно... Так, чтобы русскому адмиралу не попасть к туркам в плен,— было бы хоть из чего застрелиться!

Железнов кинулся по трапу вниз и через минуту вернулся с оружием: сам нацепил кавказскую шашку, Корнилову протянул его пистолет.

Пальба между тем прекратилась, и был слышен только перебор лопастей пароходных колёс, похожий на топот коней, скачущих галопом.

Капитан турецкого парохода, очевидно, понял замысел русского адмирала приблизиться на картечный выстрел: так как дым отволокло в сторону, на палубе заметно стало усиленное движение матросов.

Но их было что-то много, сравнительно с небольшой командой «Владимира».

— Посмотрите, у всех ли наших людей есть абордажные пики,— обратился к Железнову Корнилов. — Бой будет жаркий, если не сдадутся:

там, кажется, имеются и турецкие пехотинцы, кроме матросов.

Железнов, выполнив поручение, снова стал около Корнилова и, так как минута наступала весьма серьёзная, нахмурил брови и глядел на турецкий пароход исподлобья, держась левой рукой за эфес шашки.

Топотали колёса, взбивая в белую пену зелёную воду, и вдруг почти в одно время грянули два залпа — отсюда и оттуда; и Корнилов изумлённо поглядел на своего адъютанта, правой рукой ударившего его в подбородок и потом повалившегося мешком на палубу.

— Что? Что с вами? — нагнулся было к нему Корнилов, но отшатнулся тут же: Железнов был убит наповал, — картечь пробила ему лоб над переносьем, лицо его было залито кровью...

А залпы гревели один за другим с такими малыми промежутками, что трудно было бы сосчитать их, и вдруг, как отрезало, упала тишина, — это Бутаков заметил, что турки спустили флаг.

— Отбой! Бей отбой! — скомандовал Корнилов.

— Отбой! — передали командиры дальше, и барабанщик-матрос истоиво отстучал короткую, но значительную по своему смыслу дробь отбоя.

Бутаков поглядел на свои часы, — было около часу, бой продолжался три часа.

## 7

Имя неприятельского парохода оказалось «Перваз-Бахры», что значит «Морской выюн», и принадлежал он к египетскому флоту; мощность машины его была двести двадцать сил. Упорное сопротивление его «Владимиру» объяснилось геройством его капитана, а как только он был убит

картечью (в одно время с Железновым), команда решила сдаться. Два других офицера, бывших на «Перваз-Бахры», погибли раньше капитана. Пехотных солдат, как думал Корнилов, пароход не вез, но очень многочисленна была его команда: полтораста человек,—сорок из них было убито и ранено: в то время как на «Владимире» выбыло из строя только три человека матросов и лейтенант Железнов.

Приз был в руках хозяина Черноморского флота, но в каком жалком виде! Корнилов сам осмотрел его, как опытный хирург осматривает тяжело раненного, и покачал головой.

— В таком состоянии мы не доведём его до Севастополя!

Мачты были расшеплены, труба измята и пробита в нескольких местах, палуба продырявлена здесь и там, корпус изувечен так, что Бутаков решил:

— Не больше, как через полчаса, эта развалина затонет.

Но Корнилов был не из таких, чтобы допустить это.

— Как можно!—возмутился он.— Дать ему ремонт, если только машина в исправности.

— Едва ли успеем осмотреть как следует машину, ваше превосходительство.

— Нужно успеть осмотреть и нужно успеть починить,—отозвался на это адмирал и не сошёл с приза, пока не услышал, что машина не пострадала.

Тогда начали в открытом море стучать топоры в молотки русских матросов, старавшихся предохранить добычу от вемедленного потопления.

Но в то же время опрашивали пленных, куда

и зачем шёл «Перваз-Бахры», и установили, что шёл он в Пендерекли.

— Откуда шёл?

— Из Синопа.

— Зачем ходил в Синоп?

— Отправил туда какие-то важные письма.

— Почему именно нужно было идти в Пендерекли?

— Там назначено было ожидать эскадру фрегатов Османа-паши, которая должна была прийти из Босфора.

При опросе пленных присутствовал сам Корнилов. Когда он услышал, что турецкая эскадра, которую искал он столько дней напрасно, ожидается, если не пришла уж, в Пендерекли, он всех свободных матросов с «Владимира» и всё, что могло пригодиться для ремонта «Перваз-Бахры», послал туда, чтобы ускорить дело и быть свободным для встречи этой эскадры.

Однако часа три возились, накладывая пластыри на разбитый пароход, и Корнилов, нетерпеливо ожидая на «Владимире» донесения об окончании работ, говорил Бутакову:

— Это, черт его знает, совсем так получилось, как в крыловской басне насчёт медведя: «Чему обрадовался сдуру? Знай колет,— всю испортил шкуру!»

Но вот к четырём часам дня донесение о том, что приз в состоянии держаться на воде, и, пожалуй, даже не на буксире, а вполне самостоятельно может дойти до Севастополя, было получено, и одновременно с этим были замечены две эскадры, подходившие к месту недавнего боя: одна—с юга, другая—с запада.

Эскадры были далеко, однако шли они на парусах, так как дул уже ветер. Приняв, как оно и

могло быть на самом деле, первую эскадру за нахимовскую, соединившуюся уже с эскадрой Новосильского. Корнилов, указывая на вторую, крикнул Бутакову:

— Григорий Иванович! Вот они, наконец, турки! Итти им навстречу!

Он забыл о своей боли в пояснице ещё в начале боя с «Перваз-Бахры», теперь же он казался уравновешенному Бутакову как будто освещённым изнутри, так что не только одни его глаза стального цвета, но и всё худощавое лицо светилось.

Бутаков понимал план адмирала: подойти к турецкой эскадре как можно ближе и, завязав перестрелку, отступить на свою эскадру, дав ей тем самым время как следует изготавиться к бою. Однако чем ближе «Владимир», шедший полным ходом, подходил к турецкой эскадре, тем больше сомневался Бутаков, что она действительно турецкая.

Наконец сомнения подтвердились: он ясно различил в трубу знакомые очертания флагманского корабля «Константин», а за ним в кильватер шли «Три святителя», «Двенадцать апостолов» и другие суда эскадры Новосильского, которую задержал утренний штиль.

Но то же самое успел разглядеть и Корнилов. Он потемнел.

Бутаков ждал от него приказа о перемене курса, так как надо было всё-таки беречь уголь, чтобы быть в состоянии дойти до Севастополя, но Корнилов не отдавал такого приказа.

— Фёдора Михайловича нужно предупредить, что эскадра Османа-паши ожидается в Пендерекли, — сказал он, — и чтобы Павлу Степановичу передал он об этом и о нашем с вами призе.

А русская команда этого приза, влачившегося за победителем, как тело Гектора за колесницей Ахилла, всё ещё продолжала латать его на ходу, чтобы коварно не вздумал он утонуть по дороге в чужой для него порт, где могли бы его как следует вылечить в доках.

«Владимир» подошёл к эскадре Новосильского, и команды русских судов встретили его криками «ура». Корнилов приказал обойти все суда, чтобы все команды видели первый приз Черноморского флота в эту войну, захваченный после упорного боя. Это должно было поднять дух команд для предстоящего им большого сражения с турецким флотом, который ожидается к приходу в Пендерекли, а потом пойдёт к берегам Кавказа.

Было около пяти часов вечера, а в это время в ноябре на Чёрном море наступают уже сумерки. Притом редко случается так, что погода бывает ясная: большей частью или идут дожди, или ползают белые, как стада овец, клубы тумана, или висит какая-то неопределимая мгла.

Подобная мгла надвинулась и теперь и пронизывала сквозь шинель худое и зябкое тело Корнилова, но он старался выдерживать это стоически: он был перед командами судов не только главное начальствующее лицо Черноморского флота, но и победитель, только что выигравший сражение. Кроме того, он привёз командиру эскадры сведения о другой русской эскадре, с которой на соединение нужно было идти на юго-восток, и идти притом недолго, так как она стоит совсем близко, хотя её совершенно не видно теперь, да не могло быть видно отсюда и часом раньше...

Увы, передавая это Новосильцеву, Корнилов



не знал, что, став жертвой ошибки в семь часов утра в этот день, он продолжал оставаться во власти этой же ошибки и теперь, в сумерки: эскадра, которую он уверенно принял за нахимовскую, была всё та же турецкая эскадра Осман-паша.

И среди судов Черноморского флота было одно, которое ещё 1 ноября, ранним утром, почти вплотную подошло к этой эскадре, приняв её за русскую,—это был пароход «Одесса».

Он должен был выйти из Севастополя вместе с «Владимиром», так как входил в отряд Корнилова, но задержался из-за неисправности в машине и вышел двумя днями позже, надеясь догнать отряд благодаря скорости своего хода сравнительно с ходом парусных судов.

Он шёл по тому же курсу, но всё-таки дождливая погода не дала ему возможности отыскать своих у румелийских берегов, и он повернул к югу, окончательно разойдясь с ними. Тут-то, вблизи берегов Анатолии, он и столкнулся с турками.

Тёмная, ненастная ночь укрыла его, и он продолжал идти теперь уже на восток, чтобы передать о своей встрече эскадре Нахимова. Однако, дойдя до мыса Керемпе, не нашёл и этой эскадры. Между тем он получил серьёзные повреждения лопастей колёс и, кое-как починившись своими средствами, лёг на курс в Севастополь.

Так что, когда Корнилов, продержавшийся в море ещё целую ночь благодаря углю, взятому из трюма «Перваз-Бахры», и всё это время истративший на ремонт своего приза, явился, наконец, в Севастополь, там уже знали, что турецкий флот разгуливает в море.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Получив от Корнилова указания, где найти эскадру Нахимова, Новосильский думал соединиться с ним через час, через два. Однако совершенно стемнело, кончился вечер, наступила ночь, — эскадры не было видно, хотя суда шли хорошим ходом. Осман-паша увёл свои фрегаты по направлению к Пендерекли.

В то же время и на судах Нахимова вахтенные, помня приказ адмирала, зорко следили, не покажутся ли где в тяжёлой сырой темноте приближающиеся цепочки, хотя бы и очень слабых за дальностью, огоньков турецкого флота.

И вот огоньки действительно прорезали темь, и они не то чтобы проходили мимо, — они явственно приближались, когда истало время сменяться вахтенным, — полночь. По тревоге все заняли свои места — офицеры и матросы... Шла не то чтобы нежеланная и совсем не нежеланная гостя: ведь этого момента — когда покажется, наконец-то, турецкая эскадра — возбуждённо ждали и раньше все на эскадре Нахимова, начиная с него самого, а после перестрелки, продолжавшейся в этот день целых три часа к ряду, возбуждение достигло предела.

Неизвестно было, кто победил в этом бою, но ясно было для всех, что враг где-то близко. И вот, иллюминированная всеми огнями, движется, конечно, чужая эскадра, и сотни орудий, направленные на неё, ждали только сигнала к бою; и быть бы большой беде, если бы во-время не взвились на головном корабле «Константин» опознавательные знаки, так как огни на судах

Нахимова потушены не были и их различили издалека с судов Новосильского.

Большое оживление в монотонную, хотя в трудную, жизнь экипажей судов Нахимова внёс этот ночной приход четвёртой дивизии. Как всегда в подобных случаях, никто на отдельных судах, кроме флагманского, ничего толком не знал, в все строили смелые догадки о каком-то близком бое с большим турецким флотом, — бое ни больше ни меньше, как за обладание Чёрным морем.

Но утром только произошёл намеченный Корниловым обмен судами: «Ягудиил» и бриг «Язон» присоединились к эскадре Новосильского и вместе с нею пошли в Севастополь отдыхать и чиниться, а «Ростислав» и «Святослав» из отряда Новосильского остались у Нахимова, чтобы подкрепить его на случай встречи с эскадрой Осман-паши.

Всё, что было ему передано Новосильским, Нахимов выслушал весьма внимательно, изредка вставляя:

— Так-так-с... Да-да-с... Вон как-с!

Однако без одобрения отнёсся к бою, данному Корниловым один на один турецкому пароходу.

— И зачем это было ему рисковать по пустякам, не понимаю-с! — сказал он, хмурясь и гмыкая. — Ведь где же стоял этот убитый лейтенант Железнов? С ним, разумеется, рядом... А картечь, разве она разбирает? Могла ведь и ошибиться адресом, и лишились бы мы тогда своего начальника, — ради чего именно, скажите на милость?.. Да и Железнова жалко: такой дельный офицер был, и вот на тебе, погиб ни за что!.. И пароходишко этот всё равно бы от нас не ушёл, — рано или поздно, мы бы его захватили

или истребили... Что же за каждым из них гоняться, как за зайцами? Им надобно дать вместе сойтись, вот как-с!

— Хорошо, как сойдутся, а если... — начал было Новосильский, но Нахимов перебил его:

— Непременно сойдутся! Непременно-с должны сойтись!.. Вот тогда их и истребить всех, чтобы чувствителен был для Турции удар... А так — она и за ухом не почешется, вот что-с! А Владимир Алексеич шёл на непростительный риск, — это я ему и сам скажу при первой нашей встрече-с...

И, как бы в доказательство того, что такие совершенно пустяковые штуковины, как пароходы, если и брать, то разве что без бою, Нахимов распорядился отправить вслед за ушедшей эскадрой Новосильского свой призовой пароход «Меджере-Теджерет».

Из всего переданного ему Новосильским он отметил особенно то, что эскадру Османа-паши ожидали накануне в Пендерекли и что захваченный Корниловым пароход отвозил в Синоп какие-то важные бумаги; из этого он вывел, что турецкая эскадра через день, через два непременно придёт в Синоп, где стоят уже два фрегата и два корвета. В соединении с ними и под прикрытием береговых батарей она представит из себя внушительную силу, но в то же время мешать этому соединению было бы неразумно.

Он припомнил, что писал ему ещё перед выходом из Севастополя в свою рекогносцировку Корнилов: «С удовольствием ожидаю с вами встретиться и, может, свалять дело в роде Наваринского...» Но «дело в роде Наваринского свалять» можно было бы только большими силами и против больших сил, а для этого надо бы-

ло прежде всего удостовериться, собрал ли, и где именно, противник эти большие силы.

В то же время раза два употребил Новосильский в ночном разговоре своим словцо «усмотрение». «По вашему усмотрению»...

Нахимов не был вполне убеждён, к чему, собственно, относилось это «усмотрение»: к тому ли только, чтобы оставить у себя два двухдечных корабля — «Ростислав» и «Святослав», или к дальнейшим действиям всего своего отряда. Но так как ему хотелось, чтобы было именно это последнее «усмотрение», а письменного приказа или даже простой записки за подписью Корнилова он не получил, обстановка же, сложившаяся в море, требовала действий, а не ожидания приказов, то он и решил передвинуть свой отряд поближе к Синопу, чтобы легче было наблюдать за этим портом; для наблюдения же за портом Амастро отделён им был фрегат «Кагул».

## 2

Это часто случается и на суше, что в распри двух противников, из которых каждый взвесил все доводы в свою пользу, вмешивается вдруг некто третий, носящий прозаическое имя «погода», и вот летят со своих прочных, казалось бы, мест все доводы и все расчёты. Но гораздо чаще случается это в море.

Дул лёгкий норд-ост, когда, часов в шесть вечера, Нахимов отдал приказ по своей эскадре двигаться в кильватерной колонне за флагманским кораблём «Марией». Движение это сознательно было начато, когда уже стемнело, чтобы для наблюдателей с берегов загадкой было, в каком направлении ушла русская эскадра. Одна-

ко весьма загадочно было и поведение ветра: иногда он слабел до того, что паруса теряли свою напряжённость, иногда крепчал порывами.

Утром он дул уже не ослабевая и заставлял каждого из командиров судов то и дело взглядывать на барометр. К полудню же начался шторм гораздо большей силы, чем бывший несколько дней назад.

По три, по четыре якоря бросали команды с каждого судна в море, чтобы только удержаться на месте, чтобы буря, как бы свирепо ни швыряла она суда, не могла всё-таки погнать их на береговые скалы, где они разбились бы в щепки.

В зрительные трубы видно было, как белел около берега кипень редкостного по силе прибоя, и моряки представляли, что делалось там, у берега, какой вышины достигали там бешеные валы и как они там ревели.

Но минуты, когда можно было приглядываться к тому, что делалось у берегов, выпадали всё-таки очень редко за два дня сверхчеловеческой борьбы со штормом, когда даже слова команд приходилось выкрикивать в рупор, чтобы что-нибудь могли слышать матросы. так свистел ветер в снастях, так скрипели мачты,— вот-вот рухнут на палубу,—так жестоко бились о борта волны...

Опасна была ночь с 7 на 8 поября — длиннейшая и темнейшая ночь, когда только и слышно было, как разноголосо выла буря, а устоять на судах было невозможно: их бросало, как жалкие лодчонки, и кренило, казалось бы, до предела.

Но всё-таки это был далеко ещё не предел: наивысшей силы достиг шторм утром, когда все суда потеряли грот-марсель, когда у фрегата «Коварна», кроме того, треснула грот-мачта, а

корабли «Святослав» и «Храбрый» получали такие повреждения в рангоуте, что не могли уже нести все паруса.

Пароход «Бессарабия» тоже пришёл в такое состояние, в каком не был «Владимир» и после трёхчасового боя с «Перваз-Бахры», притом же и запас угля на нём приходил к концу.

Несвоевременный и жестокий шторм этот не только приостановил движение эскадры к Синопу, но ещё и вывел из рядов четыре судна в такой момент, когда у Нахимова вполне созрел дальнейший план действий.

Всё рушилось... Донесения о состоянии судов Нахимов получил вечером, когда упал ветер, но они оказались так тревожны, что на другой день утром он сам навестил все потерпевшие суда.

Глазам поэта парусного флота предстали корабли со сломанными фока-реями, с безнадежно треснувшими грот-реей у одного и грот-мачтой у другого... Запасного леса не было, да если бы и был, починка таких повреждений в открытом море была почти немыслима: суда готовились не к стоянке в бухте, а к большому сражению, и не калеками, кое-как залеченными, должны они были идти в бой не только с многочисленной турецкой эскадрой, но и с береговыми батареями вдобавок.

Только три корабля оставались исправными: «Мария», «Чесма» и «Ростислав». Но с тремя кораблями безумно было бы самому ввязываться в сражение, в котором все преимущества на стороне врага. И Нахимов решил, наконец, отправить повреждённые парусные суда в Севастополь на ремонт, а «Бессарабию», которая должна была прийти гораздо раньше их туда же, с письмом на имя Меншикова, содержащим просьбу о замене

пострадавших от шторма кораблей здоровыми, способными к близкому бою.

Но он не забыл и о «Кагуле», оставленном в виду Амастро на сторожевом посту. Этот одиноко стоявший фрегат мог оказаться в таком же положении, как и товарищ его «Коварна», а между тем он слишком далеко, чтобы подать ему какую-нибудь помощь...

— Да и какую же помощь мы ему можем оказать, если у него вдруг так же лопнула грот-мачта, как у «Коварны»? — говорил Нахимов, стоя рядом с Барановским и провожая глазами отходившие суда. — Разумеется, если он получил повреждения, то должен всё-таки притти к своему отряду, поскольку исполнить порученное ему дело он уже будет не в состоянии.

— А так как его что-то не видно, то, значит, он остался целёхонек и продолжает оставаться на своём посту, — сказал Барановский и добавил: — Что же третье ещё с ним может случиться?

— Как же так-с — «что третье ещё»? А турецкая эскадра-с? — метнул строгий взгляд в выпуклое лицо Барановского Нахимов.

Барановский же знал, что пароход «Бессарабия» посылался к «Кагулу» утром седьмого числа и в полдень, уже при начале шторма, вернулся с донесением, что фрегат стоит на своём месте и неприятельских судов поблизости от него им не обнаружено. Вечером же в тот же день, ночью и восьмого, то есть накануне, бушевал шторм, во время которого «Кагул» или был повреждён, как «Коварна», или отделался пустяками, как, например, двухдечный корабль «Ростислав», и стоит, как и прежде, на своём посту; трудно было бы предположить что-нибудь третье.



И, однако, случилось именно это третье... И в то время как Нахимов, беспокоясь о своём фрегате, говорил о нём с командиром «Марин», «Кагул» шёл на всех парусах, преследуемый четырьмя фрегатами Османа-паши и держа курс не на свой отряд, а прямо на Севастополь.

Это преследование «Кагула» началось ещё вечером накануне, когда утих шторм. Как раз в Амастро и отставалась вся эскадра Османа-паши — пять фрегатов, шлюп и два транспорта с десантным отрядом, предназначенным для высадки в Сухум-Кале.

Турецкая эскадра вошла в порт ночью под седьмое, в дождливую пору; дождь не переставал и седьмого весь день, почему с «Кагула» и не было замечено её присутствие в порту. Потом начался шторм, и на «Кагуле» все были заняты почти сверхсилой борьбой за целостность судна.

Судно отстоять удалось, — повреждений не допустили. Но только что дали себе вполне заслуженный отдых вечером, как показалась в море против фрегата вся турецкая эскадра.

Команда «Кагула» едва успела натянуть паруса и сняться с якоря, так как борьба с пятью турецкими фрегатами и шлюпом была совершенно немислимой и могла бы закончиться только гибелью судна, как бы ни была славна эта гибель.

Капитан-лейтенант Спицын, командир «Кагула», решил положиться на лёгкость хода своего судна; дул же теперь, к ночи, зюйд-вест, что и определило направление хода.

Старому турецкому адмиралу представлялась и заманчивой, и даже лёгкой задача захватить этот русский фрегат так же, как был захвачен в 1829 году другой, тоже сорокапушечный, фрегат «Рафаил», окружённый со всех сторон и после ко-

роткого боя спустивший адреевский флаг. Этот бывший «Рафаил», переименованный в «Фазли-Аллах» («Богоданный»), как раз находился в отряде Османа-паши.

Но в самом начале погони «Фазли-Аллах» стал отставать от других четырёх фрегатов, гораздо более новых; отстал и шлюп, и вместе с транспортами они старались только не терять из виду свой отряд.

Об этом, конечно, не пришлось уже думать ночью. «Кагул» был ходкий фрегат, так что турки вынуждены были гнаться за ним всю ночь и почти весь день 9 ноября, но всё-таки не могли приблизиться к нему на пушечный выстрел, а когда близки уж стали берега Крыма, совсем прекратили погоню.

Но зато они вышли на высоту Синопа и, соединившись с остальными судами своего отряда, пошла к Синопу, счастливо разминувшись с эскадрой Новосильского, которую шторм застал в открытом море.

Впрочем, далеко продвинуться в направлении Синопа не смогли турки: как это часто случается, настал после шторма штиль, и к утру десятого числа весь отряд Османа-паши остановился и стоял неподвижно милях в пятидесяти от так же неподвижно стоявшей эскадры Новосильского.

За дальностью расстояния противники не видели друг друга, хотя погода в этот день была ясная.

### 3

Ясная штилевая погода была в этот день и у берегов Кавказа; но эта погода оказалась вполне

благоприятной для трёх турецких военных пароходов, задумавших атаковать такой же, как и «Кагул», сорокапушечный фрегат «Флору», недалеко от русского укрепления Гагры, против мыса Пицунда.

Эти три парохода были те самые, о которых говорили турецкие шкипера лейтенанту Железнову. Они были под общей командой Муштавер-паши — англичанина Следа. — державшего свой адмиральский флаг на пароходе «Таиф», если и не более сильным из трёх, то наиболее быстроходном.

Фрегатом «Флора» командовал капитан-лейтенант Скоробогатов, человек ещё молодой, в то время как адмирал След был старый и опытный морской волк: в чине капитана английского флота он участвовал в бою двух турецких кораблей с бригам «Меркурий» и на службу к султану поступил после этого боя.

Силы у Следа-Муштавер-паши были более чем двойные, и три его парохода могли лавировать, как хотели, вокруг неподвижного, по причине штиля, фрегата. На море была только мёртвая зыбь, качавшая фрегат, как люльку, а темнота ночи несколько времени скрывала неприятельские пароходы от команды «Флоры».

Их заметили только в два часа ночи, когда небо очистилось от туч и стало гораздо светлее; как раз к этому времени подул, хотя и очень слабый, ветер, и фрегат начал двигаться со скоростью узла полтора в час. Пароходы замечены были впереди на небольшом расстоянии — около мили.

Скоробогатов думал вначале, что это свои, и на всякий случай приказал поднять фонари опознавательных знаков. Пристально вглядывались

потом матросы и офицеры, что ответят пароходы, но ни одного огонька не появилось на их мачтах, потушены были даже огни, видные сквозь люки; наконец, стало заметно, что пароходы идут к фрегату.

— Значит, турки, — решил Скоробогатов и приказал готовиться к бою, — первому в своей жизни и в жизни каждого из людей команды «Флоры».

Приготовления к бою шли, однако, быстро: все видели, что и враг спешил застать русский фрегат врасплох.

Пароходы шли один за другим, направляясь к носовой части фрегата, чтобы взять его под продольный огонь: фрегат повернулся к пароходам левым бортом. Вот пароходы, шедшие очень малым ходом, остановились, открылись их борты, и раздались первые выстрелы. Одно ядро гулко ударилось в борт фрегата, сделав пробоину. По шестнадцати орудий одного борта было насчитано у каждого из двух больших пароходов, одиннадцать — у меньшего; так что сорок семь орудий приходилось против двадцати двух на «Флоре». И, однако, русские матросы, несмотря на мёртвую зыбь, с первых же залпов дали почувствовать противнику, что они куда лучше как артиллеристы.

Двадцать минут выдерживали пароходы их пальбу и отошли: в то время как выстрелы из турецких орудий давали перелёт за перелётом, русские ядра то там, то здесь попадали в цель.

Это был первый бой парусного судна с паровыми; и парусное, хотя и больше чем вдвое слабое, за себя постояло. Сердце Нахимова, не лежавшее к пароходам, могло бы порадоваться вместе с сердцами матросов «Флоры».

Видя, как уходят, выходя из-под обстрела,

суда противника, Скоробогатов приказал прекратить стрельбу.

— Сколько раненых и убитых? Узнать, живо! — понеслась по палубе передача от командира, и не больше как через две минуты дошёл до него ответ:

— Ни одного!

Быстро, как делается всё на судах в море, начали заделывать единственную пробоину, а пароходы стояли вдаль, и адмирал След, приведя в известность свои потери, обсуждал с командиром своего отряда план нового нападения на ключий фрегат.

Обсуждение длилось недолго, минут десять, — решено было плана не менять, а действовать, как и прежде; и пароходы снова подошли на выстрел со стороны носа фрегата, который снова же повернулся к ним левым бортом.

Команда «Флоры» понимала, конечно, что окружить фрегат было бы невыгодно пароходам: тогда пришли бы в действие против них все орудия обоих бортов, а это уравнило бы силы.

Опять загрела пальба. Ещё одно ядро впилось в борт фрегата, но зато каждый из пароходов пострадал настолько чувствительно, что через полчаса все они отошли снова мили на две.

Поспешно застучали матросы-плотники на фрегате, заделывая новую пробоину и приводя в исправность рангоут.

— Много ли убитых и раненых? — справился Скоробогатов.

И снова тот же ответ:

— Ни одного!

Шутками перекидывались матросы: из такого неравного боя вышли они победителями и без

потерь. Но торжествовать было ещё рано: адмирал След был не из таких, чтобы примириться со своей неудачей и уйти совсем.

В четвёртом часу все три парохода подошли снова, обогнув фрегат, чтобы действовать против его кормы, но залпы их встретили орудия правого борта. В темноте ночи невозможно было определить, насколько успешна была стрельба русских комендоров, но турецкие стреляли из рук вон плохо: снаряды их всё время летели через рангоут фрегата.

Но вот прекратилась пальба оттуда, и на «Флоре» ударили отбой. Матросы весело хохотали:

— Тикают, хо-хо-хо!.. Не понравилось!

Пароходы ушли на этот раз поспешнее, чем прежде, не сделав даже и новой пробоины ни в борту, ни на палубе. И Скоробогатов немедленно после прекращения пальбы получил донесение:

— Ни убитых, ни раненых не имеется.

Теперь даже и сам Скоробогатов думал, что турки оставят его в покое и удалятся, но он ошибся: нападения повторялись ещё два раза и прекратились только к шести часам, когда появились первые признаки близкого рассвета. Новых пробоин не было, потерь в людях тоже.

Когда рассвело, с фрегата увидели, с кем вели такую упорную борьбу ночью: на всех трёх пароходах, стоявших вне выстрелов, вились турецкие флаги, адмиральское судно выкрашено было сплошь в чёрный цвет, два других имели белые полосы вдоль бортов. Все были трёхмачтовые.

Скоробогатов, долго не отрывавший глаз от зрительной трубы, оживлённо вскрикнул, наконец, обращаясь к своему помощнику, лейтенанту Кондогурову:

— Посмотрите-ка, Павел Ананьевич! Вице-адмиральский флаг на фор-брам-стеннге у чёрного

парохода! Вон с каким чортом мы столкнулись! Что же это за адмирал?

Кондогуров взял трубу у Скоробогатова, но его внимание привлекло другое:

— Ох, неотбойные! — сказал он. — Кажется, они опять хотят итти к нам!.. Идут ведь!

Бессонная и беспокойная ночь ничем не отразилась на лице Скоробогатова. Это было лицо твёрдых линий; остро глядели небольшие серые глаза, часто появлялась на тонких губах насмешливая улыбка.

Улыбнулся Скоробогатов и теперь, беря снова трубу у лейтенанта. Поглядел и отозвался ему:

— Стремятся в бой... Ну, что же: честь и место... Вот теперь-то мы им всыпем в загривок!

Пароходы теперь разделились: адмиральский шёл прямо на фрегат, два других заходили между фрегатом и берегом, до которого было на глаз миль десять.

Это показалось загадочным Скоробогатову, но вот он уловил в том направлении, которое взяли два парохода, какое-то маленькое судно и догадался, что это шкуна «Дротик», которая вот-вот станет добычей турок.

— Э-э, вон что, голубчики!

Долго думать над тем, как спасти «Дротик», не приходилось. Скоробогатов приказал повернуть фрегат правым бортом к адмиральскому пароходу и открыть огонь. Первые ядра дали недолёт, но теперь, при утреннем свете, Муштаверпаша не рискнул уклониться от боя с почти неподвижным русским фрегатом. Он придвинулся ближе, и началось единоборство, опасность которого для парохода «Таиф» увидели командиры других пароходов.

Они оставили шкуну и повернули к фрегату. «Дротик» на вёслах пустился к берегу, а на

«Флоре» все поняли, что настоящий бой с турецкими пароходами начинается только теперь.

Двадцать два орудия одного борта нужно было распределить по трём целям, и Скоробогатов десяти из них приказал стрелять в адмиральский пароход, на котором заметил в трубу матросов в европейской одежде

— Во-он в чём дело, братцы мои! — изумлённо обратился он к Кондогурову.

Через час стало заметно, что чёрный пароход пострадал больше других,— не все орудия его стреляли. Прошло ещё полчаса,— медленней и неуверенней начали отстреливаться и два других парохода; наконец, они ушли, и теперь уже видно было, что ушли совсем,— не к берегам Кавказа, а на запад, и адмиральский пароход позорно тащился на буксире.

— Ура-а! — кричали матросы «Флоры» и снятыми с голов бескозырками махали им вслед: парусный русский фрегат одержал полную победу над тремя турецкими «самоварами», которые были вдвое с лишком сильнее, чем он.

Нечего было и спрашивать Скоробогатова, есть ли убитые и раненые: все его матросы и офицеры были налицо. Никаких новых пробоин в корпусе судна, ни надводных, ни подводных, не оказалось, рангоут был тоже цел.

Даже сам Скоробогатов был удивлён таким результатом почти двухчасового боя и говорил смеясь:

— Я напишу контр-адмиралу Вукбичу донесение обо всём этом деле, а вдруг он мне не поверит, что тогда?

Как объяснилось в тот же день, турецкие пароходы хотели атаковать Сухум-Кале, на защиту которого мог выступить— конечно, вполне безуспешно — один только маленький тендер «Ско-



рый», так как эскадра, стоявшая там раньше, — два фрегата, два корвета, бриг и четыре парохода, — ушла накануне, под командой вице-адмирала Серебрякова, в экспедицию против вероломно захваченного турками поста св. Николая.

#### 4

Этот пост был атакован эскадрой Серебрякова ещё седьмого числа, но об этом не знали ни на «Флоре», ни в Гаграх, ни в Сухум-Кале.

Турки успели со времени захвата поста устроить там несколько батарей и встретили эскадру сильным огнём, так что атака не увенчалась удачей.

Потеряв несколько человек после двухчасовой перестрелки, Серебряков счёл за лучшее сняться с якоря и идти к Требизонду, но на пути застал эскадру шторм, хотя здесь он и не был такой большой силы, как между Амастро и Синопом. После этой второй неудачи Серебряков решил вернуться в Сухум-Кале, куда и пришёл десятого к ночи, одновременно с «Флорой».

Ни о подвиге команды «Флоры», ни о неудаче адмирала Серебрякова не знал Нахимов, когда с тремя восьмидесятипушечными кораблями и бригом «Эней» он подошёл, наконец, 11 ноября к Синопу.

Это была торжественная не только для самого Нахимова, но и для всех команд четырёх его судов минута, когда разглядели они не только белые стены города, его мечети и минареты в одной стороне и греческие церкви в другой, но и мачты укывшегося в бухте турецкого флота.

— Так вот где она, наконец, эта турецкая эскадра! — радостно говорили матросы.

Нахимов на «Марии» подошёл к самому входу

в бухту, чтобы подсчитать турецкие суда, и долго и внимательно разглядывал он их глазами опытного моряка. Тут было семь фрегатов, три корвета и шлюп, два транспорта и два парохода — один большой, чёрного цвета, другой — малый.

Большой пароход был тот самый «Таиф», который более двух других потерпел при столкновении с «Флорой». Доведя его на буксире до Синопа, где можно было ему чиниться (здесь были доки), его товарищи ушли в Босфор.

С эскадрой же из двух фрегатов и двух корветов, бывшей под командой адмирала Гуссейна-паши и стоявшей здесь раньше, соединилась пришедшая сюда в ночь с 10 на 11 ноября эскадра Османа-паши, которую Корнилов дважды принял за эскадру Нахимова.

Бухта, известная в глубокой древности как самая удобная из всех на анатолийском берегу, прикрывалась с севера гористым высоким полуостровом, самый же город, расположенный на узком перешейке,—родина Митридата, царя Понтийского, и столица его царства,—некогда был многолюден, теперь было в нём жителей тысяча двенадцать. Прилежавшая к Синопу местность была лесиста, и оттуда вывозился лес. Здесь была и верфь для постройки небольших судов. Длинный мол тянулся в бухте вдоль берега.

Одну береговую батарею разглядел Нахимов с правой стороны, при входе в бухту, другую — с левой, но об этом он знал и раньше. Самое же важное, о чём он только мечтал, как о том, что едва ли случится, исполнилось, будто турецкие адмиралы проникли в тайники его души и решили пойти навстречу его желаниям: они объединились под надёжной защитой городских укреплений.

Но надолго ли? Успеют ли починиться к этому времени корабли «Ягудил» и «Храбрый» и вернуться в отряд? Хотя бы фрегат «Кагул» явился на подкрепление сил! Нельзя же с тремя восьмидесятипушечными кораблями атаковать целый турецкий флот. С ними опасно идти даже и на одни береговые батареи!

— Вот бы когда пригодились самовары! — сокрушённо говорил племяннику Нахимов.

— Может быть, придёт какой-нибудь пароход из Севастополя,— пытался успокоить дядю Воеводский.

— Как это «может быть»? Почему это «может быть»? — возмущался Нахимов.— То есть невзначай как-нибудь забредёт ко мне?.. Нет-с! Послать должны-с! Ведь турки наш рангоут отлично видели через перешеек, когда мы подходили, а тем более теперь видят-с... Четыре судна всего, считая с бригам,— ты думаешь это им неизвестно? Прекрасно известно-с!.. Им остаётся только выйти из порта и на меня напасть,— чему я и буду рад-с! Очень рад-с!

— Нехватит смелости у них на это.

— Ага, вот видишь!.. И нехватит! И не выйдут, чтобы на меня напасть, а выйдут, чтобы уйти из ловушки, вот что-с! Потому что это для них ловушка и гибель, да-с!

— Едва ли они так думают, что для них гибель! Не наоборот ли?

Под диктовку Павла Степановича Воеводский написал рапорт командиру севастопольского порта, вице-адмиралу Станюковичу:

«Обозревши сего числа в самом близком расстоянии порт Синоп, я нашёл там не два фрегата, корвет и транспорт, как доносил, а семь фрегатов, два корвета, один шлюп и два больших

парохода, стоящих на рейде под прикрытием береговых батарей.

Предполагая, что есть какая-нибудь цель у неприятеля, чтобы собрать такой отряд военных судов в Синопе, я положительно останусь здесь в крейсерстве и буду их блокировать до прибытия ко мне двух кораблей, отправленных мною в Севастополь для исправления повреждений; тогда, несмотря на вновь устроенные батареи, кроме тех, которые показаны на карте, и я не задумаюсь их атаковать.

Убедительнейше прошу ваше превосходительство поспешить прислать два корабля моего отряда и фрегат «Кулевчи», который вместо двух недель, как предполагали отправить его из Севастополя, стоит там более месяца. Если корабли «Святослав» и «Храбрый» прибыли, то их легко снабдить реями и парусами со старых кораблей, если же нет или они имеют более значительные повреждения, тогда нельзя ли прислать один из новых, стопушечных, и корабль «Ягудиил».

В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них, как без рук. Если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два.

Последние новости от опрошенного греческого судна, которое вышло из Константинополя четыре дня назад: английский, французский и турецкий флоты стоят в Босфоре; для снабжения провизией французского флота как в Константинополе, так и в Чёрном море делается подряд.

При этом представляю план расположения неприятельских судов в Синопе».

С рапортом послан был бриг «Эней», но его командиру приказано было Нахимовым непременно дойти раньше до места стоянки «Кагула»

и передать, что фрегат должен немедленно отправляться к Синопу, на соединение со своим отрядом.

Было утро 12 ноября, когда вестовой бриг отбыл на запад, к мысу Керемпе и дальше, по направлению к Амастро, где мог находиться «Кагул». Не найдя фрегата, «Эней» повернул к Севастополю, но он потерял напрасно целые сутки, а «Кагул» в это время сам шёл от берегов Крыма к эскадре Нахимова.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1.

Курьер Нахимова, бриг «Эней», привёз рапорт адмирала командиру севастопольского порта Станюковичу в полдень 16 ноября, а часов в десять утра в тот же день совершилось самое счастливое событие в жизни Нахимова: на горизонте, в северном направлении, показались корабли, державшие курс как раз на мыс Пахиос, около которого стояла эскадра из трёх судов, осмелившаяся блокировать Синоп со всеми фрегатами и корветами, нашедшими убежище на его рейде.

На трёх кораблях Нахимова было всего только 250 орудий против 460 на турецких судах, — насмешкой могла бы показаться такая блокада!

В уютном порту, в бухте, глядевшей на юг, отрезанной от Чёрного моря, — действительно чёрного в это время года, — спокойно стоял турецкий флот, и длинные пушки шести береговых батарей служили ему надёжным оплотом: флот был у себя дома. А три двухпалубных русских корабля крейсировали в открытом море четверо суток, стараясь только об одном, как бы не вы-

пустить, не упустить из их же порта турок, которые были почти вдвое сильнее их!

Всё это время дули сильные ветры, часто переходившие в бурю, за которой следовал то проливной дождь, то снег,—казалось, где-то назрел уже «бора» и несётся сюда, чтобы искалечить и эти три последние корабля так же, как несколько дней назад были искалечены три других и пароход «Бессарабия».

Дошли ли они до Севастополя?.. Где тонко, там и рвётся,—могли потерпеть новую аварию в пути. А к туркам не подойдут ли за эти дни новые силы?.. Было над чем думать командиру маленькой русской эскадры!..

Даже и эти суда, которые разглядели с салингов матросы, могли быть турецкими, а совсем не своими. Рангоуты их маячили неясно в снежной метели — то появлялись, то исчезали, и матросы то и дело сбивались в счёте судов, тем более что суда шли в кильватер.

Однако, хотя и мачты, на которых сидели матросы, качались под свежим ветром и снег слепил глаза, всё-таки донесения от них шли такие, будто приближаются несколько кораблей — три или четыре, или даже пять, между тем как Нахимов ожидал только двух, отосланных им же самим чиниться после шторма.

Не менее получаса прошло в колебаниях: чьи это суда, которых неожиданно несколько, а не два? На всякий случай приказано было готовиться к бою... Но вот пронесло метель, прояснилась даль, а суда подходили быстро, полным ходом. И, наконец, сам Нахимов разглядел, что головное судно был стопушечный корабль «Париж», с контр-адмиральским флагом, а в кильватере за ним — «Константин».

— Oго! Oго!.. Вот как-с! — радостно бормотал

Нахимов, не отрываясь от своей трубы.— «Париж» и «Константин»!.. И... неужели «Три святителя»? Ого! Ого!.. Вот это так! Вот за это спасибо Владимиру Алексичу!.. Вот удружил, так удружил! А? Вот «ура», так «ура»! И «Кагул» мой в хвосте!.. Ведь это «Кагул»?.. Ну, разумеется, «Кагул»!.. Как же он очутился тут, с кораблями четвёртой дивизии? Вот это подарок — так подарок! «Кагул» и есть!.. Три стопушечных и фрегат, и все дошли в исправности! Молодчина Фёдор Михайлович!.. Ах, что за молодчина! Конфетка! Положительно, конфетка!

Он не знал, что это торжественное шествие русских кораблей на помощь ему, Нахимову, воочию представил ещё накануне старый турецкий адмирал Осман-паша. Число кораблей, занятых блокадой Синопского порта, удвоилось в его глазах ещё 15 (27) ноября, когда послал он телеграмму в Константинополь, что перед Синопом крейсируют шесть линейных кораблей. Он добавлял к ним ещё бриг и два парохода, чтобы в Константинополе прониклись ужасом его положения и поспешили его спасти. Не забыл он при этом и «Кагул», за которым гнался почти двое суток, но в телеграмме его один русский фрегат вырос в восемь фрегатов, и вся флотилия эта, с двумя пароходами впереди, крейсировала, по его словам, между Синопом и Босфором.

Это была не телеграмма, а крик сердца, но... но в Константинополе как раз в это время праздновали «победу турецких пароходов над русскими фрегатами», известие о которой привезли сюда те самые два парохода, которые, отбуксировав «Таиф» до Синопа, отправились дальше в Босфор. При этом «Флора», от которой постыдно бежали все три парохода, превратилась не больше, не меньше, как в целую эскадру самого На-

химова!.. Если три турецких парохода, — под командой, правда, Муштавер-паши, — смогли разгромить эскадру Нахимова, то, разумеется, только явной трусости могли приписать в Константинополе телеграмму Османа-паши. А незадолго перед этим корреспондент одной лондонской газеты сообщал в Лондон, что египетский пароход «Перваз-Бахры» притащил на буксире в Константинополь разбитый им русский пароход «Владимир» и находившийся на нём адмирал Корнилов теперь в плену у турок...

Толки о блестящих успехах турецких моряков не прекращались в Константинополе, разносясь и по другим европейским столицам, и вдруг зов о безотложной помощи из такого сильного порта, как Синоп! Конечно, этот зов был приписан неуместному малодушию, да и непрерывно бурная погода совсем не располагала к тому, чтобы турецкое правительство решилось послать свой парусный флот сражаться не столько с русскими судами, сколько со штормами: и без того в истории турецкого флота достаточно было случаев гибели, не только порчи, кораблей во время равноденственных бурь, особенно сильных осенью.

Подходили перенёсшие не одну бурю в пути корабли эскадры Новосильского и приставший к ним фрегат «Кагул». Их паруса были занесены снегом, кое-где оледенели, — но это только прибавляло торжественности долгожданной минуте. Даже сам Нахимов кричал «ура», не только многотерпеливые команды трёх его судов.

## 2

В кают-компании «Марии» шло вечером в этот день совещание флагманов и командиров судов о предстоящем деле: получив столь неожиданно



для себя такую сильную подмогу, Нахимов спешил посвятить в свои планы весь высший командный состав.

Крылья небывалого ещё в жизни счастья, осенившие его утром, когда подходил Новосильский, чувствовались всеми сидевшими с ним теперь за столом кают-компаний: как помолодели вдруг голубые пятидесятилетние глаза! Какая убеждённая и даже плавная появилась речь! Какая осанка у этого привычно для всех сутуловатого, очень простого в обращении со всеми человека, говоря с которым даже мичманы иногда забывали, что он вице-адмирал!..

Теперь, в это совещание перед боем, об этом последнем помнили и капитаны 1-го ранга; и один из них, командир корабля «Париж», Истомин,— красивый, лысоватый со лба, спокойных и уравновешенных манер,—поднявшись, обратился к нему не по имени-отчеству, как это было тогда принято у моряков, а по чину:

— Ваше превосходительство, меня занимает вопрос, каким образом мы, вступив в перестрелку с турецкими судами, можем не залезть снарядами городских строений... Ведь непременно будет стрельба по такелажу, будут и перелёты,— нельзя ручаться, что их совсем не будет,— а если так, то пострадает, разумеется, и город в той или иной степени. А между тем мы этого допустить не смеем,— так пришлось слышать мне в Севастополе.

— Вам пришлось слышать, а я получил такой приказ от князя, вот через Фёдора Михайловича,—очень живо отозвался на то Нахимов, кивнув в сторону сидевшего с ним рядом Новосильского.— И хотел сказать об этом сам,— вы меня предупредили. Мне, господа,— обратился он ко всем,— очень хорошо известно это было и рань-

ше: ведь это не только желание князя, это идёт от министерств из Петербурга. «Уничтожать турецкие суда при встрече с ними в море»... Так-с, прекрасно-с!.. Вот Владимир Алексеичу посчастливилось одно такое судно встретить в открытом море, и он его уничтожил или почти уничтожил... Не спросил я вас, Фёдор Михайлович, дошёл ли этот египтянин до Севастополя?

— Дойти дошёл, только едва ли куда годится,— ответил Новосильский.

— Ну, вот-с, значит, почти уничтожен!.. Повезло, выходит, Владимиру Алексеичу, а не нам-с! Если турки не вышли из Синопа, когда у меня только три корабля было, то теперь их и калачом не выманишь! А между тем у меня в руках приказ: истребить два фрегата и два корвета, стоящие в Синопском порту! Запоздалый приказ, как всегда бывает: теперь уже там целая эскадра, а не два фрегата. Но приказ остаётся приказом: мы должны напасть на турецкие суда, сколько бы их там ни оказалось. Стоящие в порту! Вот как-с!.. Значит,—это наша основная задача: получив не только разрешение, но и приказ, мы должны действовать безотлагательно... Великой важности вопрос поднят вами, Владимир Иванович,— обратился он к Истоминому,— но ответ на него даст только будущее; да-с, только будущее. По возможности, господа, мы должны шадить город,— об этом вы скажете командам своих судов, да, наконец, я должен буду упомянуть это я в приказе по отряду, да-с; но-о не в ущерб для своих действий,—это прошу иметь прежде всего в виду-с!.. Если турецкие корабли стоят на причале, скажем, у самой набережной, а вдоль этой набережной расставлены орудия береговых батарей, которые калёными ядрами в нас лупить будут, отчего у нас непременно,—

это прошу иметь в виду с! — непременно начнутся пожары, то как же команды наши сохранят ледяное хладнокровие для ответной стрельбы, чтобы нисколько не пострадал от неё город? Я по крайней мере не в состоянии этого себе представить... Вот вы, Владимир Иванович, были сами в Наваринском бою...

— Отлично помню, ваше превосходительство, — снова поднявшись, заговорил Истомин. — Помню, что турецкие суда взрывались и горящее дерево с них несло на город.

— Вот! Вот-с! Именно это я и хотел сказать!—подхватил Нахимов, щёлкнув пальцами.— Пожары, возможно, будут у нас на судах, пожары—непременно это—будут у них на судах, и пожары—мы избежать этого не сможем—начнутся и в городе, поближе к месту боя... Это—закон!... Это—война! Это—не какая-то там игра девичья в фанты:

Вам прислали сто рублей,

Что хотите, то купите,

Чёрного, белого не покупайте.

Что угодно приказать?

Нахимов проскандировал это с таким увлечением, что все улыбнулись, а он продолжал с ещё большим задором:

— «Чёрного, белого не покупайте», по берегам отнюдь не стреляйте, а то англичане на нас надуются,—не турки, нет! Однако же турки напали на наш пост св. Николая? Напали! Всех там уничтожили и самый пост захватили? И уничтожили, и захватили! Так почему же мы это должны терпеть-с, я вас спрашиваю? Мы воюем или нет? Воюем,—был выпущен высочайший манифест о войне с Турцией. Суда турецкие топить

в море можем? Можем,— это право нам дано... дано, несмотря на то-с, что Англия претендует на очень многое, господи! На то претендует, как вам и без меня известно-с, чтобы во всём мире, на всех океанах и морях, не было сделано ни одного выстрела без её, Англии, на то разрешения, вот на что-с!.. Так что если мы истребим хотя бы два фрегата турецких, разве мы не обидим Англию и этим?

— Оскорбим смертельно! — ответил за всех капитан 1-го ранга Кузнецов, командир «Рости-слава», человек широкий, приземистый и суровый не только на вид.

— Верно-с, оскорбим смертельно, и всё равно войны с нею избежим,— подтвердил Нахимов.— Так что, к чему эти всякие дипломатические увёртки и самостеснения, мне мало понятно... Но я отвлекся в сторону от сути дела, господи... А суть заключается, по-моему, вот в чём... Орудия на берегу,— их всех оказалось сорок, господи, так как две батареи у них по восьми орудий, остальные четыре — по шесть.— Эти орудия для нас наиболее опасны-с, это первое, да-с... Но ведь турецкие адмиралы надеются не только на них, иначе они не стояли бы в своей ловушке-с...

— Не думают ли они нам ловушку устроить? — спросил Новосильский, так как к нему обращён был взгляд Нахимова.

— Именно-с! Именно-с это самое! — и вздёрнул плечи, как бы внезапно поражённый такою догадливостью, Нахимов.— Но как же всё-таки устроят они эту ловушку?

Теперь Нахимов переводил глаза с одного на другого из сидевших около него за столом, и командир корабля «Три святителя», Кутров, ответил за всех:

— Допустить можно, что хотят поставить нас в два огня, ваше превосходительство.

— В два огня? Каким образом в два огня?

— А это я в том смысле, что, может быть, уже идёт другая турецкая эскадра сюда из Босфора,— объяснил Кутров.

— Прекрасно-с! Это был бы для нас самый лучший выход из положения! — очень оживлённо отозвался Нахимов.— Я лично был бы очень рад и с тремя своими кораблями пошёл бы второй эскадре навстречу, а Фёдор Михайлович со своими встретил бы как нельзя лучше синопцев! Таким образом мы избежали бы чего именно-с? Да прежде всего необходимости подставлять себя под выстрелы береговых батарей, вот чего-с! А в них-то и заключается эта самая для нас приготовленная ловушка-с!

Тут Нахимов выждал некоторое время, переводя глаза с Истомина на Квзнецова, с Кутрова на Ергомышева — командира корабля «Константин», и добавил, понизив голос, точно выдавал нечто весьма секретное:

— Не знаю-с, как сделают турецкие адмиралы, а я бы сделал на их месте так: снял бы орудия со всех судов с одного борта до поставил бы их на берегу-с, вот как-с!.. А вдруг они именно так и сделают, господа, а? Ведь у них берег, а не у нас, а половина их орудий всё равно им бесполезна для дела... И вот при таком обороте, господа, мы имели бы против себя на берегу не сорок, а двести семьдесят, если не больше, пушек. Вот если мы с этим столкнемся, то тут-то и будет для нас ловушка-с! Вот это и будет значить вполне и решительно: поставить нас в два огня-с!

Озабоченно переглянулись командиры судов, а Новосильский сказал успокоительно:

— Не догадаются сделать так турки, Павел Степаныч!

— А если там есть, кроме турок, и англичане и французы? — обратился к нему Истомин.

Спицын же, командир «Кагула», покрутив головой и улыбаясь, ответил Истомину за Новосильского:

— Хотя я и не турок, а скорее англичанин или француз, но тоже ни за что бы не догадался так сделать!

И все улыбались, глядя на этого бедового капитан-лейтенанта, который сорок пять часов тащил за собой, как на невидимом буксире, четыре фрегата противника, справедливо рассудив, что бой с ними не может сулить ему победы, и к чему в таком случае напрасно и заведомо отдавать гибели и судно и команду, если можно этого избежать?

— Вы, Фёдор Михайлыч, говорите: не догадуются, но нам надо действовать так, чтобы не допустить их до этого, если бы они и догадались вдруг,—сказал Новосильскому Нахимов.— Пока они этого не сделали,—я лично за этим слежу,—а за один завтрашний день уж не успеют этого сделать; двести с лишком орудий снять с судов,—на это на одно нужно большое время, но ведь нужно не только их снять, а ещё и установить на берегу в укреплениях,—на это времени втрое больше-с; так что, о-поз-да-ли они с этим, господа! — протянул он и укоризненно, по адресу турецких адмиралов, покивал головой.

— Да, если бы они сделали так раньше!—сказал командир «Чесмы», Микрюков.

— А у них было время именно так сделать,—дополнил сказанное им Барановский.

Нахимов же заключил:

— Тогда они были бы неприступны-с! А если бы вдруг они взялись за это сегодня, то завтра же утром мы их должны были бы атаковать... Но я думаю всё-таки, что завтра мы ещё можем дать несколько отдохнуть и оглядеться в незнакомой местности командам новоприбывших судов, что я считаю очень важным, а восемнадцатого, господа, может быть атака, и там уж что бог пошлёт, да-с, что бог пошлёт!.. Однако в успех я верю. Надеюсь вполне на вас, что верите и вы все; а уж что касается младших офицеров и молодцов-матросов, то в этих не может и тени возникнуть сомнения, что они обрадуют Россию... и тени сомнения быть не может... Расскажите, господа, вашим командам о Наваринском бое... Вот вы, Владимир Иванович, как очевидец, да и дар слова имеете, хорошо можете это им напомнить! (Истомин поднялся, слегка наклонил корпус и сказал: «Есть, Павел Степаныч!») Напомните матросам, как ещё за месяц до Наваринского боя турки выказывали страх перед русскими,—не перед английскими, не перед французскими, а именно перед нашими судами! Когда мы, делая эволюции только, сближались с их судами, — это видели тогда все, господа! — турки бежали в сторону английского флота!.. Английский флот им казался гораздо менее страшен, чем русский: вот как напугал их ещё адмирал Ушаков! Я сам читал после,—где-то в английской газете печаталось письмо сына адмирала Кодрингтона из Наварина матери в Лондон; от тех времён письмо,—и он буквально пишет матери то самое, что я вам сейчас сказал. Так что, стало быть, и англичане этот страх турок перед русскими моряками заметили-с!.. А строй их перед Синопом такой же самый, как и в Наваринской бухте: подкова-с... полумесяц... самый не-

удачный для них строй, так как не станут же они идти на охват нас с обоих флангов! Вообще я уверен, что двигаться они не станут, поэтому и мы станем на якорь, как только войдём и построимся против них...

— Этот строй удобен для них только затем, чтобы выбрасываться на берег, когда они будут разбиты,—вставил Новосильский, лишь только сделал паузу Нахимов.

— Да, они выкинутся, это так, и едва ли, едва ли, господа, нам удастся захватить что-либо из этих судов,—посетовал Нахимов.—Если ветер послезавтра не переменится, то он будет нам в спину, а им в лицо, — вот ещё причина, что мы должны укрепиться, на своих местах, иначе нас ветер погонит на их суда, — а это худо. Войти же на рейд мы должны будем двумя колоннами: я с тремя кораблями буду действовать против их правого крыла и батарей, а вы, Фёдор Михайлович, тоже с тремя — против левого и тоже двух или трёх береговых батарей,—это смотря по тому, смогут ли нас достать их крайние две батареи; мне кажется, что они у них стоят неудачно, однако, дело покажет, сколь дальнобойны там орудия... Что ещё мне вам остаётся сказать, господа?.. Подробности будут изложены мной в приказе, за которым прошу прислать по одному младшему офицеру завтра утром, а пока думаю я, что туркам ничего больше не остаётся, как защищаться отчаянно... Они хотя и верят в кismet — в судьбу, но судьба судьбой, а дёшево они жизни не продадут, и потери у нас должны быть не малые — главным образом от береговых батарей, разумеется. Так что если мне суждено будет погибнуть во время сражения,—погиб же Нельсон в бою—то команда эскадрой переходит к контр-адмиралу Новосильскому.



На другой день утром показалось со стороны Севастополя ещё одно парусное судно, шедшее явно на соединение с отрядом Нахимова. Скоро узнали в нём фрегат «Кулевчи», бывший под командой капитан-лейтенанта Будишева, человека некрасивого и в то же время общего любимца во флоте, способного выкинуть любую озёрную штуку, бонмотиста, игрока, кутилы. Он не пустился бы уходить от четырёх фрегатов Осман-паши, он непременно бы затеял с ними драку — и, как знать, может быть, драка эта кончилась бы у него тем же, чем и у Казарского на бриге «Меркурий».

Под его командой даже и самый этот фрегат «Кулевчи» приобрёл какой-то озорноватый вид. Задор сквозил во всех его снастях даже и теперь, после двух суток пути по очень беспокойному морю.

По приказу Меншикова, он вышел из Севастополя на рассвете 15 числа, чтобы передать, наконец, Нахимову «высочайшее повеление», как ему следует поступать. Хотя это повеление было уж передано ему на словах Новосильским, но одно дело — на словах и совсем другое — на бумаге.

От Будишева Павел Степанович получил тот самый пакет, который посылал Меншиков раньше, с пароходами «Одесса» и «Громоносец». Но оба парохода попали в шторм 7—8 ноября, который так повредил их, что они, не дойдя до эскадры Нахимова, повернули снова в Севастополь.

Высочайшие повеления состояли из трёх пунктов: во-первых, турецкие приморские города не атаковать; во-вторых, турецкий флот ста-

раться истребить, если он вышел в море; и, в-третьих, стараться отрезывать сообщение между Константинополем и Батумом.

Повеления эти весьма запоздали; они были помечены 23-м числом октября.

— Так-с... Да-с... Очень хорошо-с... Я уже над этим думал и говорил вчерашний день-с,—бормотал Нахимов.— В Синопе есть консульства... На них непременно выкинут национальные флаги, а, как вы полагаете? — спросил он Будищева, продолжая держать полученную от него бумажку.

Невысокий, рыжий, с маленькими косоватыми глазками, Будищев тут же ответил:

— Не только свои флаги выкинут, а и себя тоже как можно дальше от Синопа, чуть только увидят, что корабли наши входят на рейд, Павел Степаныч!

— Ну, да-с, это, конечно, так и будет, — согласился Нахимов. — Насчёт консульских домов можно будет вставить в приказ, а гарантии дать, что они останутся в целости,—этого уж от меня не просите-с!

Был, кроме этого пакета, ещё второй, более поздний, от Меншикова. Князь писал:

«Приказываю вам, по истреблении в Синопе неприятельских судов — двух фрегатов и двух корветов, — пройти с эскадрою вдоль Анатолии к восточным берегам Чёрного моря, у которых появились турецкие пароходы и делают нападения на крейсирующие там суда...»

— Вот как?—изумился Нахимов.— А на какие же суда делались ими нападения, не знаете? И кто именно привёз эти сведения в Севастополь?

Будищев ответил, что сведения получены там от командира парохода «Херсонес», Руднева,

который был в эскадре Серебрякова при атаке поста св. Николая, окончившейся неудачно, — а нападение трёх пароходов на «Флору» было блестяще отбито и совершенно без потерь.

— Ах, молодцы! Вот молодцы! — обрадовался Нахимов, услышав о «Флоре». — Команда, команда у Скоробогатова молодец к молодцу! Да ведь и сам молодчина, — весь в команду свою, а команда — в него-с. И неужели же столько часов боя — и так-таки ни одного человека не потерял?

— Руднев привёз донесение об этом от контр-адмирала Вукотича.

— Ну, с нами уж этого быть не может, — озабоченно возразил Нахимов. — Береговые батареи — вот что будет нам в тягость... Против адмирала Серебрякова что же там могло быть выставлено на берегу? Пустяки-с! И то вот вы говорите — неудача, а в Синопе совсем не пустяки, да, кроме того, ещё и двенадцать военных судов, из них два парохода. В умелых руках эти два парохода могут зайти нам в тыл и обстреливать наши корабли продольно, — вот что скверно-с! Да ещё есть предположение, как вы доложили, что среди команд их видели англичан, а не кого-нибудь... В таком случае, вы будете, вместе с «Кагулом», оба фрегата, отряжены на предмет наблюдения... за действиями этих самых двух пароходов, — так будет лучше всего-с... А что они — те самые, два из тех трёх, — в этом сомненья быть не может-с... Третий же или сейчас в Требизонде, или ушёл в Босфор, за подмогой Осману-паше... Да это скорее всего, что он послан в Константинополь, и нам поэтому надо завтра же покончить с этим делом... Прощайте-с пока, готовьте своих людей к сражению; хотя они и устали, но что же де-

лать-с. А часа через два одного из младших офицеров пришлите ко мне за получением приказа.

Так как сражение предстояло весьма серьёзное, то и приказ Нахимова оказался довольно обширным. Он касался и диспозиции судов во время боя, и действий их перед началом боя, и в самом начале, справедливо полагая, на основании опыта Наварина, что раз бой начался, то руководить им в дальнейшем ему, командиру всего отряда, будет трудно.

Вот этот исторический приказ с небольшим сокращением:

«Располагая при первом удобном случае атаковать неприятеля, стоящего в Синопе в числе семи фрегатов, двух корветов, одного шлюпа, двух пароходов и двух транспортов, я составил диспозицию для атаки их и прошу командиров стать по оной на якорь и иметь в виду следующее:

1. При входе на рейд бросать лоты, ибо может случиться, что неприятель перейдёт на мелководье, и тогда стать на возможно близком от него расстоянии, но на глубине не менее десяти сажен.

2. Иметь шпринг<sup>1</sup> на оба якоря; если при падении на неприятеля будет ветер N, самый благоприятный, тогда вытравить цепи шестьдесят сажен, иметь столько же и шпрингу... Вообще со шпрингами быть крайне осмотрительными, ибо они часто остаются недействительными от малейшего невнимания и промедления времени.

---

<sup>1</sup> Шпринг — особое приспособление, состоящее из канатов, которое можно назвать вожжами корабля. Одним концом прикрепляясь к якорю, другим — к битенгу — толстому брусу внутри кормы, — шпринг служит для поворачивания корабля бортом в нужную сторону.

3. Перед входом в Синопский залив, если позволит погода, для сбережения гребных судов на р-страх, я сделаю сигнал спустить их у бор-та на противоположащей стороне неприятелю.

4. При атаке иметь осторожность не палить дпром по тем из судов, кои спускают флаги, посылать же для овладения ими не иначе, как по сигналу адмирала, стараясь лучше употребить время для поражения противящихся судов или б-тарей, которые, без сомнения, не перестанут палить, если бы с неприятельскими судами дело и было кончено.

5. Ныне же осмотреть заклёпки у цепей на случай надобности расклепать их<sup>1</sup>.

6. Открыть огонь по неприятелю по второму адмиральскому выстрелу, если пред тем со стороны неприятеля не будет никакого сопротивления нашему на него наступлению; в противном случае, палить, как кому возможно, соображаясь с расстоянием до неприятельских судов.

7. Став на якорь и уладив шпринг (то есть повернув им корабль бортом к неприятелю), первые выстрелы должны быть прицельные; при этом хорошо заметить положение пушечного клина на подушке мелом, для того, что после, в дыме, не будет видно неприятеля, а нужно поддерживать быстрый батальный огонь. Само собой разумеется, что он должен быть направлен по тому же положению орудия, как и при первых выстрелах.

8. Атакя неприятеля на якорю, хорошо иметь,

1. Заклёпки были на якорных цепях, и их приходилось по одной на каждые пятнадцать саженей цепв. При необходимости поспешно сняться с якоря гораздо легче и скорее расклепать такую заклёпку, чем вытянуть всю длинную якорную цепь; освобождённое таким образом от якоря судно быстро могло переменить место.

как и под парусами, одного офицера на грот-марсе или салинге<sup>1</sup> для наблюдения при батальном огне за направлением своих выстрелов, а буде они не достигают своей цели, офицер сообщает о том на шканцы, для направления шпринга.

9. Фрегатам «Кагул» и «Кулевчи» во время действия оставаться под парусами для наблюдения за неприятельскими парходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему.

10. Завязав дело с неприятельскими судами, стараться, по возможности, не вредить консульским домам, на которых будут подняты национальные их флаги.

В заключение выскажу свою мысль, что все предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего своё дело, и потому я предоставляю каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему, но непременно исполнить свой долг.

Россия ожидает славных подвигов от Черноморского флота, от нас зависит оправдать ожидания».

Получив этот приказ, командиры судов не нашли в нём ничего для себя нового: картина предстоявшего им большого и решительного боя была и без того ясна каждому из них после со-

---

<sup>1</sup> Грот-марс — первая площадка на грот-мачте, то есть самой большой мачты корабля; салинг — вторая площадка на той же мачте. Офицер-наблюдатель, поместившись на одной из этих площадок, где пороховой дым не так мешает видеть действие своих выстрелов, может и должен передавать результаты своих наблюдений вниз, на палубу, и этим содействовать тому, чтобы стрельба велась по целям, а не впустую.

вещания с командиром отряда, заключение же приказа было обычно-нахимовское: «все предварительные наставления» тщательно отметились, так как они «при переменившихся обстоятельствах могут только затруднить командира, знающего своё дело».

Морской бой обыкновенно бывает очень короток сравнительно с сухопутными боями, но в то же время чрезвычайно значителен по своим результатам, и командиры судов знали, конечно, что им надо готовиться к сражению, которое назовут историческим, но в то же время знали и другое,—что успех его будет зависеть от всей подготовки к нему, тянувшейся и для них самих и для команд их судов долгие, очень долгие годы.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Нахимов в своём приказе, данном 17(29) ноября, не назначил дня атаки. Он сознательно, конечно, допустил полную неопределённость в этом, откладывая сигнал к атаке до «первого удобного случая». Военное судно, крейсируя в море во время войны, всегда должно быть готово к этому сигналу, и нет нужды заранее назначать для этого определённый день или час, тем более что «первый удобный случай» вполне может разминуться с этим заранее назначенным днём, даже часом.

Однако про себя он решил действовать без промедлений: слишком долго он ждал, крейсируя без захода в порт свыше месяца в штормовые погоды, именно этого «удобного случая»,

чтобы упустить его, когда он представится во всей желанности и силе.

Утро 18-го (30) числа было мглисто, сеялся мелкий дождь, видимость была скверная... Но при всём этом дул самый благоприятный для нападения на суда в Синопской бухте ветер—норд, хотя и шквалистый; временами он ревел глухо, как в лесу, в снастях восьми русских судов, временами слабел.

Ночью ветер был гораздо яростней, и дождь лил крупный, упорный, и темнота кругом была кромешная, так что трудно было ожидать, чтобы утро предоставило «удобный случай» для атаки турецкого флота.

Скупо и медленно пробивался свет сквозь сплошную тучу, окутавшую небо над морем. В восемь часов всё кругом было ещё очень неразборчиво, только в девять, наконец, прояснилось, и дан был сигнал с адмиральского корабля «Мария» спустить гребные суда соответственно приказу.

Это показало всем, что скоро начнётся дело. Спуская шлюпки с палубы за борт, матросы взглядывали на мачты «Марии»: не появится ли новый сигнал, после которого окончательно должен стать ясным даже этот только что наступивший дождливый день. И сигнал был поднят в половине десятого: «Приготовиться к бою и идти на Синопский рейд...» Слов было очень мало,—смысл их большой.

Но как же всё-таки нужно было «готовиться» к бою, когда и без того все и всегда были к нему готовы? Это знали судовые священники: боцманы, взявшись за свои свистки, вызывали всех матросов «наверх», на молебен, который тянулся довольно долго. Но вот он кончился, заплескались на брамстенях национальные



флаги, отданы были якоря, и эскадра двинулась к Синопу, строясь по заранее полученной диспозиции, на ходу, в две колонны: правую вёл Нахимов на «Марии», левую — Новосильский на корабле «Париж». Вместо «Ростислава», в колонну Нахимова вступил вторым «Константин», третьим оставался «Чесма», так что колонна Новосильского, в которой было два столушечных корабля — «Париж» и «Три святителя», оказывалась сильнее колонны самого Нахимова, — это был жест великодушия со стороны командира отряда.

Но, кроме этого жеста, было также и соображение, казавшееся Нахимову вероятным: он заметил, что наиболее сильные турецкие суда — шестидесятипушечные фрегаты, которых было всего четыре, расположились на флангах, на рогах полумесяца, по два с каждого фланга, а более слабые, сорокапушечные, — в середине; причём между обоими крыльями был интервал, дававший возможность действовать большой батарее, расположенной прямо на набережной Синопа.

Против колонны Нахимова должно было прийти шесть судов, против колонны Новосильского — только четыре, но зато на эту колонну ложилась задача борьбы и с береговой батареей на набережной, в то время как суда Нахимова должны были не только подавить огонь пяти турецких фрегатов и корвета, но ещё и уничтожить батарею укрепления, лежавшего вне городской черты, однако в близком соседстве с городом.

Каждой из колонн, кроме того, предстояло выдерживать и потушить огонь батарей, охраняющих вход в бухту; две же остальные батареи, которым Нахимов не придавал особого значе-

ния, не могли влиять На исход боя, так как находились довольно далеко от Синопа, но их нельзя было миновать, огибая полуостров, чтобы войти в бухту.

Когда началось движение русских судов, шёл уже двенадцатый час.

Продолжал идти дождь, продолжал гудеть порывистый ветер; команды всех восьми кораблей были приподнято настроены: никто не сомневался в победе: однако не всякий был уверен в том, что уцелеет в бою, а на судно под вице-адмиральским флагом, на «Марню», глядели напряжённо, чтобы не пропустить сигнала к началу боя или последних важных приготовлений к нему.

Но вот действительно взвился сигнал.

— Что там? Какой сигнал?.. — И не верят глазам: адмирал, как на ученьи, в мирной обстановке, показывает: «Полдень...» И ничего больше. «Полдень...» Может посмотреть на свои часы и поставить их по адмиральским.

Через пятнадцать — двадцать минут начнётся жестокий бой, один из тех, которым присвоено название исторических, а пока ничего — полное спокойствие. «адмиральский час» — полдень. суда идут полным ходом при попутном ветре, и сквозь кисею дождя уже видны, на перешейке полуострова, стены Синопа.

Чтобы не подвергать суда своего отряда действию двух передовых турецких батарей, Нахимов прошёл мимо них в расстоянии большем, чем миля. Хотя огонь ими и был открыт, — снаряды не долетали. Две батареи эти могли бы оказать большую услугу туркам в случае высадки русского десанта на полуострове, как это и предполагал сделать еще в сентябре Корнилов, но при нападении непосредственно на Си

иоский флот двенадцать орудий этих батарей были бесполезны для защиты.

Зато, чуть только оба флагманских корабля, «Париж» и «Мария», подошли на пушечный выстрел к середине полумесяца турецких судов, как с флагманского фрегата «Ауни-Аллах», на котором был вице-адмиральский флаг Осман-паша, раздался первый выстрел.

Вслед за ним засверкала, загрохотала, запенилась, задымилась вся бухта. Командиры турецких фрегатов и корветов стремились со всею поспешностью воспользоваться выгодой своего положения. Их суда стояли уже в боевом строю, охватывающем две параллельные колонны русских судов, которые должны были ещё строиться в боевой порядок, неизбежно такой же сямый, как и у их противника: полумесяц против полумесяца, меньший по дуге против большего; тем более, что, кроме парусных, у турок во второй линии дымились трубы двух пароходов,—это слева от входа в бухту, а справа, за линией боевых судов, виднелись два транспорта, и в третьей линии — два купеческих брига.

Но рассмотреть такие подробности можно было только с подхода, пока не загремела канонада: потом белый, как вата, густой пушечный дым покрыл всё море от судов до берега, а русские корабли засыпало обвалом чугуна.

Турецкие артиллеристы целились вверх, в мачты, в такелаж: так было им приказано, такова была тактика морского боя у турок,—тактика паука, который, кидаясь к запутавшейся в его плутине мухе, прежде всего откусывает или окручивает паутиной ей крылья, чтобы лишить её способности двигаться.

У турецких командиров был и ещё расчёт на то, что русские матросы будут посланы вверх

по вантам убирать паруса, представлявшие слишком благодарную цель, и вот тогда-то они посыплются вниз, как яблоки с яблонь во время осенней бури.

Но Нахимов был опытен: он помнил Наварин, когда познакомился впервые с тактикой турок. Его забота о парусах была проявлена раньше, когда он приказал их «взять на гйтовы», чтобы уменьшить давление на них ветра, и тем уменьшить их площадь.

Отнюдь не без выстрела шли обе колонны: орудия правого борта кораблей Нахимова и левобортные пушки Новосильского отстреливались направо и налево; но, в то время как турки имели перед собой одну цель и одну задачу — нанести нападающим как можно больше вреда, нападающие должны были под смерчем снарядов устанавливать при помощи шпрингов свои корабли, становиться на якорь в определённой дистанции друг от друга... Это проделывалось на ученьях в море, но тогда обстрел с неприятельских судов или береговых батарей только предполагался, теперь он гремел со всего полукружья.

Кроме сплошных ядер, летели и книппеля — снаряды, состоящие из двух полушарий, скреплённых общим железным стержнем. Они обрывали снасти судов, — это и было их назначение... «Вы пришли, но вы не выйдёте назад!» — так можно было перевести грозный рёв и гул открытой турками канонады.

Восточный кismet — рок, судьба — стоит тут же со своими весами, на которых всё взвешено заранее, и ничего изменить нельзя, но на чашу этих весов прежде всего положены искусство и доблесть турецких моряков — старинные доблести и искусство.

Четыреста лет тому назад турецкий флот при-  
нёс гибель Византии и вслед за тем овладел  
всеми берегами Чёрного моря. 1853 год был  
юбилейным годом для турок, а какой флот был  
у русских четыреста лет назад?

Фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» остались поза-  
ди и вне выстрелов даже со стороны береговых  
батарей, а головные корабли «Мария» и «Па-  
риж» в полуверсте от противника остановились,  
и повернулись к нему — первый правым, второй  
левым бортом, как это было предусмотрено дис-  
позицией. Спокойно и быстро там и тут опустили  
якорь. По флагманским строились остальные  
суда. Пальба, начавшаяся на ходу, стала теперь  
и сильнее и серьёзней: каждый из кораблей со-  
средоточил весь свой огонь на одной определив-  
шейся цели.

Два старых наваринца очутились друг против  
друга: Нахимов на «Мария», Осман-паша на со-  
рокачетырёхпушечном фрегате «Ауни-Аллах».  
Только полкилометра разделяло их, но глазо-  
мерно на таком же почти расстоянии от «Ма-  
рии» стал «Париж», потому что таков был ин-  
тервал между соседним с фрегатом небольшим  
корветом «Гюли-Сефид» и ближайшим к нему  
фрегатом «Дамиад» из правого крыла турецких  
судов. В интервале же действовала береговая  
батарея в двенадцать орудий большого ка-  
либра.

Страшны по своему действию такие орудия  
береговых батарей, и лучше, чем кто-либо дру-  
гой, знал это Нахимов, но он надеялся на свой  
противовес — бомбовые пушки Пексаи, из ко-  
торых состояли батареи нижних палуб крупней-  
ших судов Черноморского флота. Эти пушки  
назывались то пексановскими — по имени изобре-  
тателя их: французского генерала Пексана, то

шестидесятивосьмифунтовыми — по весу заряда для них.

Английские газеты ничего не писали об этом. Но как бы ни замалчивали шестидесятивосьмифунтовые русские гаубицы англичане, они очень внушительно заговорили сами в этот злосчастный для турок день, и когда заговорили, то трудно уж было даже офицерам-наблюдателям со своих салингов, а тем более с грот-марсов, разобраться как следует в том аду, который точно из недр Синопской бухты вырвался и закипел перед их глазами.

Как при извержении вулкана, поднявшегося со дна моря, бухта вся клокотала, клубилась дымом, белела высокими фонтанами здесь и там, вздувала волны, стонала, ревела, грохотала, сверкала огнями выстрелов, как молниями из туч...

Нахимов всё время находился на юте с неизменной подзорной трубой. Кусок стеньги, разбитой ядром, упал вниз, ему на плечо. Наваченная шинель и эполет сюртука спасли его плечо от перелома. Мелкие щепки и клочья разорванных парусов и вант сыпались на него, но он держался совершенно спокойно, как держался бы под дождём.

Не только за стрельбой с «Марии» следил он, насколько возможно было что-нибудь разглядеть, но и за действиями других судов. Он даже хотел, как на ученьи, поднять сигнал — благодарность «Парижу» за быстроту и отчётливость его манёвров, но не на чем было поднять этот сигнал: фалы — сигнальные верёвки — были перебиты.

Оба флагманских корабля, «Мария» и «Париж», приняв на себя всю тяжесть первых минут боя, нанесли и первые большие потери вра-

гу. Не больше как через полчаса после начала сражения «Ауна-Аллах» уже отклепал свою икорную цепь...

Кто и зачем приказал это сделать,— сам ли Осман-паша, бывший уже десять лет в чине адмирала, или командир фрегата, на свой страх и риск,—но фрегат под вице-адмиральским флагом первым вышел из строя.

Он и не шёл,—разумной человеческой воли не было заметно в его движениях, — его несло ветром между линиями сражающихся судов, вправо от того места, где он стоял. Весь растерзанный бомбами с «Мария», с грудами трупов на палубе, он похож был на призрак фрегата и, однако же двигался куда-то, неизвестно зачем...

Выйдя из-под огня «Марии», попал он под пушки «Парижа» и, наконец, полуразрушенный, выкинулся на мель под правой береговой батареей.

Некогда было следить за его судьбой,— и у «Парижа», и у «Марии» оставалось ещё довольно противников, кроме сильной береговой батареи, с которой только теперь, в середине боя, начали вдруг лететь калёные ядра.

Но поздно! Раньше, чем вызваны были ими лёгкие пожары на русских судах, пламя охватило «Фазли-Аллах», стоявший в соседстве с флагманским фрегатом, бежавшим из боя так бесславно и так никакёмно.

«Фазли-Аллах», бывший «Рафаил», пылал, точно исполняя заблаговременно приказ царя Николая: «Предать фрегат «Рафаил» огню, как недостойный носить русский флаг, когда попадёт снова в наши руки...» Все офицеры этого фрегата, возвратившиеся из турецкого плена, были разжалованы в матросы без выслуги, а фрегат, хотя и старой постройки, старательно

подновлялся и сберегался турками, как единственный их трофей во всех боях с русским флотом, начиная с времён Орлова-Чесменского.

Теперь этот трофей пылал, как факел, чёрным столбом своего дыма выделяясь над белым полотнищем дыма от пушек... Но вот стало заметно, как этот чёрный столб и языки багрового пламени под ним двйгаются к берегу, под батарею; это командир фрегата решил повторить манёвр своего адмирала: якорная цепь была расклёпана, пылающий фрегат выкинулся на берег.

Почти вслед за этим настала очередь и корвета «Гюли-Сефид»: бомба с «Парижа» проникла в его крйит-камеру, и корвет взлетел на воздух от взрыва. В облако дыма метнулось снизу тёмное облако обломков и человеческих тел и упало в бухту около мола.

Но с «Парижем» не корвет «Гюли-Сефид» вёл борьбу, а два шестидесятипушечных фрегата — «Дамиад» и флагманский «Низамиэ», с контр-адмиральским флагом,—по числу орудий равные «Парижу».

Покончив с бывшим «Рафаилом», Нахимов хотел было дать приказ «Марии» итти на помощь «Парижу», но разглядел, что «Дамиад» уже пятится к берегу, чтобы выброситься так же, как и «Рафаил», а долго ли мог сопротивляться «Парижу» один «Низамиэ», у которого были перебиты уже все мачты? Вот уж и на нём отклепали якорную цепь, и, отодвинувшись к берегу, он загорелся вдруг, подожжённый, видимо, своей же командой.

Прошло всего только сорок минут с начала боя, а половина турецкого флота — четыре фрегата из семи и корвет — погибла, сражаясь против двух только русских кораблей, погибла, не-



смотря на могущественную поддержку береговой батареи.

Однако огонь батареи этой не ослабел, и потому сначала «Мария», а за нею «Париж» направили против неё все свои пушки одного борта, как против сильнейшего из звеньев всей вражеской цепи.

Эта батарея, по тому месту, какое занимала она в общем ряду береговых батарей, называлась у турок пятой; влево от неё по берегу расположена была (вне города) четвёртая, вправо — шестая, последняя.

Пока «Мария» и «Париж» боролись с пятью турецкими судами и пятой батареей в их тылу, корабли правой, нахимовской колонны, выдерживая усиленную пальбу с четвёртой и более далёкой — третьей батареи, боролись с двумя шестидесятипушечными фрегатами — «Навек-Бахры» и «Назими Зефер» и корветом «Неджим-Фешан».

Минут двадцать длилась перепалка — казалось, так, без всяких результатов. Против двух крупных кораблей действовали две батареи, и эта помощь менее сильным, чем русские, судам не только уравновешивала силы, но могла бы стать сокрушительной, если бы не гаубицы Пексима, занимавшие нижнюю палубу «Константина».

«Константин» был уже окружён фрегатами и корветом; на нём тушили два небольших пожара, возникшие от калёных ядер; «Чесма», ведшая в это время перестрелку с третьей батареей, спешила уже, снявшись с якоря, ему на помощь, как вдруг раздался взрыв, покрывший страшным грохотом всю канонаду: снаряд одного из бомбических орудий «Константина» покончил с фрегатом «Навек-Бахры».

Взрыв корвета «Гюли-Сефид» мог бы быть назван слабым сравнительно со взрывом этой громады,.. Мгновенно возникнув из дыма огромным столбом, обломки, обрывки, куски человеческих тел — всё это обрушилось на четвёртую батарею, загромоздив её так, что она умолкла совершенно. Видно было в трубы, как бежали от неё в сторону города турецкие артиллеристы.

«Чесме» оставалось только усилить свой огонь против этой батареи, чтобы скрыть её до основания и повернуться потом к третьей, которую обезвредить было гораздо труднее. А «Константин» повернулся на шпринге и продолжал бой с фрегатом «Насим-Зефер» и корветом, и минут десять ещё длилась эта борьба, пока ядро не перебило якорную цепь фрегата.

Ветер понёс его к молу против греческой части Синопа, и на корвете сочли, что больше ничего не остаётся сделать, как последовать за своим товарищем. Провожаемые огнём «Константина», фрегат и корвет выбросились на берег около пятой батареи; их команды бежали в город.

## 2

Бой нахимовской колонны с левым крылом турецких судов, которым руководил вначале непосредственно Осман-паша, почти закончился здесь. Сопротивлялась огню «Чесмы» только третья батарея, но бой колонны Новосильского с правым крылом был к этому времени ещё в разгаре.

Казалось бы, что это крыло, состоявшее только из трёх фрегатов и корвета, под начальством контр-адмирала Гуссейна-паши, было слабее левого, но оно пользовалось мощной поддержкой

пятой и шестой батарей, а для русских судов, предводимых «Парижем», несчастливо сложились в самом начале случайности боя, которые невозможно предотвратить, потому что нельзя предвидеть.

В то время как «Париж» крыл своим огнём корвет «Гюли-Сефид»,— крайний в левом крыле,— и отражал весьма энергичный огонь двух фрегатов правого крыла — «Дамнада» и «Низамиз», стоявшие непосредственно за ним «Три святителя» вступили в бой с фрегатом «Каиди-Зефер», а на долю «Ростислава» пришлось задача, гораздо более сложная: кроме корвета «Фейзи-Меабуд», против него направила все свои усилия шестая батарея.

Неудача корабля «Три святителя» состояла в том, что он в самом начале боя потерял возможность управления: неприятельское ядро перебило его шпринг. Оставшись на одном только якоре, огромное судно это по воле ветра повернулось и к своему противнику-фрегату и к шестой батарее кормою, то есть попало под продольные выстрелы врагов,— положение самое опасное из всех, в какое могло попасть парусное судно: его орудия обоих бортов не в состоянии отвечать при таком положении на обстрел врага.

Ядра и гранаты летели в корабль с двух сторон. Одна за другой были разбиты в две-три минуты все мачты. Желая выручить попавшего в беду товарища, «Ростислав» перестал отвечать корвету «Фейзи-Меабуд», а все орудия левого борта направил против батарей.

Нужно было заменить перебитый шпринг, и с корабля «Три святителя» были спущены баркас и полубаркас с матросами под командой мичмана Варницкого, чтобы завести верп (якорь) с кормы.

Не так далеко от носа корабля до кормы водою, но кругом в эту воду и в корабль летели ядра, и одно из них ударило в полубаркас, на котором был Варницкий и несколько матросов; при этом толстою щелкою разбитой лодки мичман был ранен в руку.

Однако кругом пенилась вода, лодка тонула,— некогда было думать о ране, и мичман первым перескочил в баркас, за ним вся его команда... Ледяная вода бурлила от шлёпавшихся в неё ядер, дым ел глаза, залпы своих и чужих пушек гремели кругом, но завести якорь было необходимо, и это сделали матросы, и громадина вновь грозно ошетибилась против врага жерлами шестидесяти двух орудий.

Не прошло после этого и десяти минут, как расстрелянный фрегат «Каиди-Зефер» принуждён был бросить своё место в строю и выкинуться на берег. Но как раз в это время величайшая опасность угрожала и «Ростиславу».

В одно из его орудий ударила граната большого калибра; она не только разорвала это орудие, но, разбив также и палубу, воспламенила пороховой ящик. Взрыв этого ящика (кокора) произвёл большое опустошение среди скученных на палубе матросов: до сорока человек из них были ранены или получили тяжкие ожоги. Но страшное действие роковой гранаты на этом не кончилось: на корабле начался пожар, причём загорелся так называемый кожух, и горящие ключья его стали падать как раз у входа в крюйт-камеру, где пороху было куда больше, чем в одном кокоре, а дверь в крюйт-камеру как раз и была приоткрыта.

Буквально секунды были отпущены кораблю, а спустя эти несколько секунд он неминуемо

должен был взлететь на воздух, точно так же, как это случилось не с одним уже турецким судном: одной искры, которая попала бы в крьюйт-камеру, было довольно, чтобы взорвать «Ростислав».

Нужно было, чтобы кто-то, мгновенно поняв это, проявил полное хладнокровие и тут же бросился бы к дверям крьюйт-камеры, чтобы затворить их, и к пылавшему кожуху, чтобы потушить пожар. Эту находчивость и хладнокровие проявил бывший тут и случайно уцелевший при взрывах гранаты и кокора молодой мичман Колокольцев.

Он не только закрыл дверь,— дверь в ничто, в небытие и корабля и всей команды,—но, схватив банник и став спиной к этой двери, начал обрывать и отбрасывать банником подальше горящие клочья кожуха... Конечно, тут же на помощь ему подскочили матросы, которые сорвали, наконец, весь кожух с крючьев и сбросили его в море.

Так был спасён «Ростислав». Обожжённых и раненых вынесли с палубы с той поражающей непривычных людей быстротой и чёткостью движений, с которой всё делается на кораблях во время учений и боя, очистили палубу от мешающих обломков и, как бы в награду за это, увидели через две-три минуты, что корвет, приславший им гранату, сильно качаясь на ходу, двинулся к берегу вслед за фрегатом «Каиди-Зефер». Всё-таки этому корвету «Фейзи-Меабуд» удалось продержаться чуть-чуть дольше, чем всем остальным военным турецким судам, и покинуть поле битвы последним.

А тем временем пожар, охвативший «Фазли-Аллах», бывший «Рафаил», дошёл до его крьюйт-камеры, и сильнейший взрыв при усилившемся

норде засыпал горящими обломками турецкую часть Синопа.

Загорелся город. Горел фрегат «Низамие», подожжённый, как оказалось после, бежавшей с него командой. Горели также и один из транспортов, и купеческий бриг; другие затонули от русских снарядов. Горел и один пароход—меньший. Другой же, «Таиф», бежал ещё в самом начале боя: адмирал След помнил,— и трудно ведь было забыть за такое короткое время,— своё сражение с одним, почти неподвижным при безветрии, русским фрегатом, и этого было с него довольно, чтобы отказаться от попытки зайти в тыл русской эскадре, чтобы обстрелять тот или иной корабль продольными выстрелами своих бомбических орудий.

Под прикрытием дыма от первых же залпов турецких и русских судов он вышел на рейд, но счёл более умным совсем бросить и свою эскадру, и Синоп и бежать по направлению к Босфору. Конечно, куда как хорошо быть первым вестником победы, но иногда не плохо бывает стать и первым вестником поражения,— особенно когда поражение это может быть, да и должно быть, соответствующим образом освещено, чтобы возвести его в ореол геройства, а победителей заклеить бесславию.

Адмирал След в самом начале боя предвидел, конечно, чем может он окончиться для турок, и, хотя числился на службе у султана, хотел явиться в Константинополь истым англичанином, больше политическим деятелем своей страны, чем моряком турецкого флота. Но, для того чтобы явиться с обстоятельным докладом, ему необходимо было, конечно, продержаться за спинами сражавшихся до конца.

Однако в тылу стояли «Кагул» и «Кулевчи»,

назначение которых в том только и состояло, чтобы следить за действиями пароходов; и хотя «Таиф» не проявлял никаких действий, всё-таки они двинулись было к нему, испытывая при этом всё неудобство состязания в скорости между парусными судами и паровым.

Следу ничего не стоило лавировать, как он хотел,— пароход слушался руля, но совсем не то было с парусами при перемене курса: на долю русских матросов выпала очень сложная и трудная работа.

След не видел для себя опасности в весьма неповоротливых фрегатах, от которых он всегда мог уйти, как от стоячих, и в то же время нужно было досмотреть до конца кипевший бой.

Однако, когда уже большая часть турецких судов была или взорвана русским огнём, или вышла из строя, выкинувшись на берег, а два русских фрегата стали обходить «Таиф» справа и слева и дали уже по нём первые залпы, за большим расстоянием не причинившие ему вреда, След решил, отстреливаясь, обогнуть полуостров, тем более что наблюдателю с мачты через перешеек полуострова гораздо лучше было видно, что ещё происходит на рейде, да и в самом городе.

Но, уйдя от «Кагула» и «Кулевчи», «Таиф» наткнулся на русские пароходы, из которых головной, «Одесса», был под флагом вице-адмирала Корнилова.

### 3

Вернувшись из своей рекогносцировки с призом, Корнилов отправился в Николаев, где находилось управление Черноморским флотом — место его службы. Надо было сделать там мно-

го распоряжений на зиму, но сделав их, 15 ноября он возвратился в Севастополь.

Нахимов ошибался, когда думал, что подходящая к нему шестнадцатого числа эскадра Новосильского послана благодаря заботам Корнилова; последний узнал об этом в подробностях только в Севастополе, от Меншикова. Но, узнав, он сразу развил всю энергию, на какую был способен.

Как ни ничтожен оказался приз, захваченный им с бою, приз, доставивший ему так много хлопот, пока он довёл его до Севастополя, он всё-таки не бросил своей прежней мысли хозяина флота: не истребить, а захватить турецкие суда, прижавшиеся к Синопу.

Для того же, чтобы Нахимов с большим успехом мог выполнить именно это, он убедил Меншикова послать к Синопу ещё три парохода-фрегата: «Крым», «Одессу» и «Херсонес», под общей командой контр-адмирала Панфилова.

Испытав во время своего недавнего плавания на «Владимире», чем может грозить недостача угля в открытом море, он просил Станюковича, командира Севастопольского порта, не жалеть угля (семидесятилетний Станюкович был очень скуп, как многие старики), поэтому углём не только загрузили трюмы этих пароходов, но его в мешках навалили везде, где было можно, и на палубах.

Четвёртый пароход-фрегат, «Громоносец», в таком же виде самостоятельно отправился в распоряжение Нахимова. Корабли «Храбрый» и «Святослав», сильно потрёпанные штормом 8 ноября и отправленные Нахимовым чиниться, теперь, с приходом Корнилова, усиленно готовились к обратной отправке к Синопу. Наконец приказано было очистить доки от стоявших там



уже давно старых и безнадёжных судов: корабля «Султан-Махмуд» и фрегата «Агатопись». Несколько команд матросов посланы были к этим инвалидам, чтобы как можно скорее разломать их и убрать из доков, которые должны были, по расчёту Корнилова, пригодиться для ремонта турецких судов, хотя и израненных в бою, но всё-таки новой постройки.

К утру 17 ноября все три парохода отряда Панфилова были уже готовы к отплытию, но как же мог усидеть в Севастополе Корнилов, когда там, в Синопской бухте, уже назревал бой?

Он не был уверен только в том, согласится ли Меншиков отпустить его после того, как он, начальник штаба Черноморского флота, вздумал, точно мичман, рисковать своею жизнью, не только атаковав один на один турецко-египетский пароход, но ещё и приказав подойти к нему на картечный выстрел, чтобы потом свалиться на бордаж.

Тогда он действительно рисковал жизнью по пустяковому поводу, но зато теперь... Корнилов, идя к Меншикову, чтобы представить ему неотразимые резоны, придумал возможность такого оборота событий, когда Нахимову нужна будет помощь для отражения атаки с тыла; тогда-то вдруг и явится, как снег на голову, против нового отряда турецких судов с тремя пароходами он, Корнилов.

Правда, назначен уже Панфилов, но он—адмирал ещё очень молодой, неопытный; пожалуй, не сумеет в бою расставить силы, как надо... Если бы были уже готовы к отплытию корабли «Храбрый» и «Святослав», то положение было бы гораздо проще: Панфилов мог бы отправиться с этими кораблями, он же — непременно с пароходами, чтобы не явиться к шапкам; но, увы, все

ремонты судов во флоте делались очень медленно...

К удивлению Корнилова, никаких доводов ему приводить не пришлось: Меншиков с первого же слова не только согласился с ним, но даже сказал:

— Я думаю, что это совершенно необходимо.

Тут он сделал весьма сложную гримасу, отдавая дань своему тикку, и, оправившись, добавил:

— Адмирал Нахимов, конечно, хорошо знает своё дело, в этом ни я, ни кто другой, мы усомниться не можем... Но-о, Владимир Алексеич, между нами говоря, морской бой, который предстоит ему,— это ведь не ученье... нет... Тут распорядительность нужна... Тут, как бы выразиться яснее (он пощёлкал пальцами и прищурился), глазомер нужен,— то есть, другими словами, сообразительность, очень быстрая и точная, вот что нужно... Находчивость, да. А где же она у Нахимова? Ведь он,— это, прошу, пусть останется между нами,— туповат и неповоротлив, старомоден, если можно так выразиться. Он не найдётся, что ему нужно сделать, так, как могли бы найтись в трудный момент вы, Владимир Алексеич... Он, между нами говоря, просто какой-то боцман в адмиральском мундире!

Корнилов понял, к чему клонил Меншиков, и просиял, но он ждал большей определённости, почему и счёл нужным возразить князю в пределах приличия:

— Едва ли, ваша светлость, представится Нахимову такой уж из рук вон трудный момент, чтобы он не смог найтись! Тем более, что атакующим будет ведь он,— следовательно, времени обдумать все возможности этой атаки у него будет вполне довольно.

Меншиков поглядел на него пытливо и отозвался на это:

— Времени ещё больше будет и у противника... Мне не один раз приходилось атаковать турок в их укреплениях,— они защищаться умеют, смею вас уверить, и защищаться отчаянно... В таких случаях надо придумать такой маневр, что бы он ошеломил их, чтобы о-он... заставил их растеряться, а не то что итти напролом, бить в лоб... Бить в лоб — это только им наруку... В лоб я.. и в Синоп, что запрещено самим государем, как вам это известно.

— Что же может сделать Павел Степаныч, чтобы избежать этого? —спросил Корнилов.

— Что он может сделать, этого-то именно я и не знаю, а вот вы, Владимир Алексеич, я уверен, что-нибудь могли бы придумать там, на месте, чтобы выманить турок в открытое море...

— Спрятать, например, часть судов, а с двумя-тремя войти в бухту и вызвать за собой погоню всей турецкой эскадры,— попробовал догадаться вслух Корнилов, вопросительно глядя на Меншикова,— но может случиться, что спрятанные суда не успеют подойти во-время, и тогда получится ещё хуже, чем атаковать, не мудрствуя, прямо в лоб.

— На месте виднее, как распорядиться, — уклончиво отозвался Меншиков,— но надо распорядиться умно... умно,— подчеркнул он,— это главное.

Несколько помолчав, он добавил:

— Кроме того, я, конечно, не сомневаюсь в победе нашего отряда судов над турецким отрядом, и мне хотелось бы, чтобы честь этой победы принадлежала вам, Владимир Алексеич, а не Нахимову.

Что князь не благоволил к Нахимову, это бы-

ло известно Корнилову, но всё-таки он не думал, что князь договорится до этого хотя бы с глазу на глаз. Его охватила неловкость, и он ответил:

— Ваша светлость, Павел Степаныч старше меня по производству.

— Это решительно ничего не значит! — поморщившись и презрительно махнув рукой, сказал на это Меншиков.— Он старше вас по производству в вице-адмиралы, вы старше его по своей должности в Черноморском флоте... Кроме того, что вы — генерал-адъютант!

— Всё-таки одного моего словесного заявления со ссылкой, разумеется, на вас, ваша светлость, будет совершенно недостаточно для того, чтобы мне принять командование там, в виду Синопа.— попробовал возразить Корнилов.

— Зачем же одно только словесное заявление? Я вам сейчас же напишу предписание по этому поводу, а вы передадите его Нахимову перед сражением и вступите в командование во исполнение моего приказа.

И Меншиков, усевшись за письменный стол и приставив к своим старым глазам лорнет, начал писать мелко, но разгонисто. Корнилов же, дождавсь, когда он окончил и, по привычке, посыпал написанное песком из бронзовой песочницы, тяжёлой, причудливой формы, сказал последнее, что ещё было у него против решения князя:

— Павел Степаныч больше месяца крейсировал у берегов Анатолии — ждал турецкую эскадру,—и вот теперь, вдруг, когда он её, наконец-то, дождался, являюсь замещать его я!

— Но ведь вы тоже крейсировали в открытом море с неделю,—возразил Меншиков, стряхнув песок со своей бумажки и протягивая её Корнилову.— Можно и нужно пожалеть, что эта эс-

кадра не встретилаь тогда вам, но если не встретилаь в море, то вы её найдёте в Синопской бухте,— только и всего.

— Весьма благодарен вам за доверие ко мне, ваша светлость,— сказал Корнилов, принимая бумажку и кланяясь,— хотя всё-таки мне даже и после победы будет думаться, что победа эта подготовлена Нахимовым, и я пожну, по существу, его лавры.

Меншиков пристально поглядел на него, откинувшись на спинку кресла, и, слегка улыбнувшись непонятно чему, заметил наставительным тоном:

— Насколько известно мне лично, государю будет приятнее дать за эту победу высшую награду вам, а не Нахимову.

Возражать против этого было уже нельзя,— можно было только ниже, чем обычно, наклонить голову и пожелать князю спокойной ночи, так как шёл уже двенадцатый час. Необходимо было и самому поспать перед отплытием пароходов, назначенным на шесть часов утра.

Эту ночь Корнилов спал довольно крепко, так как утомился за день, но, когда пароходы вышли в море, достаточно было времени, чтобы подумать над тем, что говорил Меншиков накануне, и над его бумажкой, лежавшей теперь в боковом кармане сюртука.

Два вице-адмирала, столпы Черноморского флота, Корнилов и Нахимов, соревновались между собою, как два больших артиста, влюблённых в одно и то же искусство, но они не были соперниками. Их близкое знакомство было давним, со времён Наварина, когда один был на чин моложе другого.

Однако и догнав Нахимова в чинах и даже став несколько выше его в служебном положе-

нии, Корнилов с неизменным уважением относился к Павлу Степановичу. У Корнилова, в его семейной квартире, останавливался Нахимов, когда приезжал из Севастополя в Николаев. У Нахимова, в его холостой, но просторной квартире, останавливался Корнилов, когда приезжал из Николаева в Севастополь.

И вот вдруг подойти на своём пароходе «Одесса» к кораблю «Императрица Мария», взобраться по трапу на палубу, где с открытыми объятиями будет ждать его Павел Степанович, и... вынув из кармана бумажку князя, подать её ему, а самому отвернуться? Неудобно!.. Даже странно как-то, почему и зачем очутилась у него в кармане эта бумажка... Воля князя? Польза службы? Желание царя?..

Но ведь если отбросить первое и третье, то откуда взять уверенность, что для пользы службы, для пользы дела будет гораздо лучше, если он, Корнилов, отодвинет Нахимова и примет командование над эскадрой?

Уверенность в победе у него была, но план действий, который почти диктовался ему Меншиковым, требовал всё-таки разработки, — его нельзя было провести сразу, с приходу. План этот сводился к тому, чтобы, атакуя турецкий флот, не повредить Синопу. Но для этого надо, чтобы турецкие адмиралы позволили выманить себя из-под защиты береговых батарей, — то есть потеряли бы разум... «Цыпа-цыпа-цыпа!» — зовёт кур хозяйка и бросает перед собой зерно из пода, чтобы намеченную для обеда поймать, когда все начнут жадно клевать зерно. Но такой старый турецкий адмирал, как Осман-паша, далеко не курица, — Корнилов познакомился с ним в бытность в Константинополе вместе с Меншиковым весною, когда князь вёл переговоры о

ключая Иерусалимского храма и о прочем подобном,—переговоры, приведшие к войне.

Между тем времени терять было нельзя — вот-вот могла бы подойти,—а может быть, и подошла уже,—помощь туркам, попавшим в блокаду; так что единственный манёвр, который остаётся применить, и как можно скорее, это — лобовой удар...

Пароход «Одесса» был переделан в военный из пакетбота и нёс на себе только шесть орудий, то есть был вдвое слабее «Владимира», притом гораздо тихходнее его; и «Владимир» стоял в ремонте. Зато командир «Владимира» Бутаков вёл теперь «Одессу»: это было сделано по приказу Корнилова, так как командир «Одессы» лежал больной у себя дома.

Таковыми же шестиорудийными и такими же тихходными, как «Одесса», были и «Крым» и «Херсонес», но все три парохода, щедро нагруженные углём, шли бодро в кильватере, лопоча своими колёсами и держа курс прямо к Синопу. На «Крыме» вилял флаг контр-адмирала Панфилова, но Корнилов не хотел поднимать своего флага на «Одессе», оставляя за Панфиловым честь командования этим маленьким отрядом, а за собою право поднять флаг свой на большом стопушечном корабле перед началом исторического боя.

#### 4

Так как дул попутный ветер, то все три парохода-фрегата шли на полных парусах, и это помогло им пересечь Чёрное море за сутки: на рассвете 18 (30) ноября они подошли к мысу Пахиосу, где Корнилов предполагал найти эскадру Нахимова.

Эскадры этой, однако, не было видно. Явилось даже сомнение, действительно ли очень слабо видневшийся вдали берег — мыс Пахиос, тем более что лил дождь, за которым берег совершенно скрывался иногда, а если очертания его проступали, то были очень смутны, расплывчатые.

Корнилов дал сигнал свернуть паруса и застопорить машины, пока станет виднее и можно будет определить, куда идти на соединение с Нахимовым.

Так, в нерешительности, простояли пароходы до десяти часов, когда, наконец, ослабел дождь и значительно рассеялась мрачность горизонта.

Тогда Корнилов приказал Бутакову подвести «Одессу» к самому берегу и идти по направлению к Синопу, другим же двум пароходам идти к Синопу тоже, но на расстоянии самого дальнего сигнала и высматривать русскую эскадру.

Пароходы шли медленно, тихим ходом, — и два часа понадобилось им, чтобы подойти к Синопскому перешейку, через который в это время уже летели первые русские ядра и пенили море.

Корнилов увидел в трубу русский флаг на фор-брам-стенге корабля «Мария», понял, что опоздал, — всего на какой-нибудь час, не больше, но опоздал, — и у него отлегло от сердца. Раз сражение уже началось, бумажка, данная ему Меншиковым, теряла свою силу. Он вынул было даже её, чтобы бросить за борт, но, повертев в руках, положил снова в карман. Обращаясь к Бутакову, он сказал:

— Ну, помоги, господи, Павлу Степанычу! — и перекрестился, набожно сняв фуражку.

Потом приказал дать сигнал остальным пароходам: «Держаться соединённо», а на «Одессе» велел поднять его, Корнилова, флаг.



Было несколько минут задержки, пока сблизились с «Одессой» «Крым» и «Херсонес»; затем полным ходом все три парохода двинулись, огибая полуостров, в бухту, где бой был уже в разгаре, — шёл второй час дня.

Однако разглядеть, что делалось в глубине бухты, не удалось Корнилову: он увидел, как навстречу «Одессе», но вне выстрелов её орудий, шёл большой чёрный пароход, явно турецкий, и за ним двигались два фрегата, очень знакомые по очертаниям.—«Кагул» и «Кулевчи».

Догадаться, что турецкий пароход просто бежал, а русские фрегаты гнались за ним без всякой надежды его догнать, было не трудно, и Корнилов приказал сигнализировать: «Пароходам атаковать неприятеля, поставив его в два огня».

Два фрегата сзади, три парохода спереди,— положение Следа могло бы показаться довольно трудным, но только для людей, мало знакомых с морским делом

Англичане позаботились о турецком флоте: такого быстроходного, сильного по вооружению парохода, как «Таиф», не было у черноморцев. Самый мощный из их паровых судов, «Владимир», был ровно вдвое слабее «Таифа»; значительно слабее его были и все три русских парохода, взятые вместе: они имели только восемнадцать орудий против двадцати двух на «Таифе», у которого к тому же батареи были закрытые и два орудия — бомбические, десятидюймовые.

Прикрываясь первой и второй береговыми батареями, След вёл свой пароход вдоль берега, в то время как оба фрегата, погнавшиеся за ним, безнадежно отстали, а пароходы «Крым» и «Херсонес» ещё не подошли на пушечный выстрел.

Однако Корнилов приказал Бутакову на полных парусах и полным ходом машин итти на пересечку курса турецкого парохода.

Это был уже чисто охотничий задор. Так наперерез матёрому волку, бегущему вразвалку, спешит молодой гончак, далеко опередивший свою небольшую стаю. Матёрый волк силён, — ему не очень страшна и целая стая гончих, если бы и в самом деле ей удалось окружить его, тем более этот щупленький молодой пёс, и он даже не думает прибавлять ходу, вполне уверенный в том, что задиришка не кинется в борьбу с ним на явную для себя гибель.

Не будь на «Одессе» Корнилова, «Таиф» ушёл бы, не обменявшись ни одним выстрелом со слабым и тихоходным русским пароходом, бывшим пакетботом. Но Корнилов очень ярко помнил свой совсем недавний успех в бою с «Перваз-Бахры», который к тому же не бежал, а напротив, держался весьма уверенно. Этот же пароход бежал, и ведь неизвестно было, в исправном ли состоянии... Может быть, он уже довольно тяжко подбит, почему и не развивает хода.

Новый приз,—так смотрел на большой чёрный турецкий пароход Корнилов.

«Перваз-Бахры» решено уже было Меншиковым переименовать в «Корнилов», и вот перед глазами ещё добыча, новая и сильная единица Черноморского парового флота, для которой тоже найдётся подходящее имя.

— Открыть огонь!—скомандовал Корнилов,— и первые ядра полетели в «Таиф», в то время когда и «Крым» и «Херсонес» были ещё далеко, хотя и спешили на помощь «Одессе».

Перед «Таифом» был пока всего один небольшой русский пароход, привлекавший внимание Следа своим вице-адмиральским флагом. Про-

тивник был достоин ответных выстрелов, и перестрелка завязалась.

Дождь, прекратившийся было в полдень, незадолго перед встречей с «Таифом», начался снова. На палубе «Одессы» всё было мокрое, скользкое. «Таиф», бежавший вдоль берега, представлял собой плохую цель: его силуэт сливался с такими же туманными силуэтами береговых скал; русский же пароход довольно отчётливо выделялся на фоне моря, и желание нанести ему большой вред, если даже не потопить совсем, заставило Следа уменьшить ход «Таифа».

Залпы по «Одессе» следовали быстро один за другим, однако снаряды давали перелёты. На «Одессе» же единственное бомбическое орудие не могло отвечать противнику, так как платформа его соскочила со штыря, и в самое горячее время команда возилась с этой платформой, утверждая её на прежнем месте, что было не так легко.

Корнилов стоял на площадке, поминутно то вглядываясь сквозь трубу в своего противника— нет ли попаданий в него, то озираясь назад,— близко ли «Крым» и «Херсонес». От нетерпения команда казалась ему совершенно необученной стрельбе из орудий на ходу судна. Он нервничал. Над головой его свистели большие снаряды турок, но он не о них думал, а о том, что, как только подойдёт поближе «Крым», он прикажет выкинуть сигнал: «Свалиться на абордаж».

Он, прибывший сюда с планом Меншикова непременно той или иной хитростью выманить турецкие фрегаты из их убежища в открытое море, совсем не предполагал подобной же хитрости у врага.

Он видел, что враг этот бежит.—значит, раз-

бит. Ход его тихий,—значит, развить полного хода он не может. Он тем не менее не спускает флага, как не хотел спустить его и «Перваз-Бахры»; значит, надо принудить его к этому, подойдя, так же как и в тот раз, на картечный выстрел.

«Крым» приближался, однако и стрелки карманных часов Корнилова приближались уже к трём часам: не менее как полтора часа длилась погоня за турецким пароходом.

Между тем дождь усилился; за его плотной кисеей с трудом уже можно было различить чёрный «Таиф», как бы прилипший к тёмносизым скалам.

— Ага! Ну, вот, наконец-то!—довольно сказал Корнилов, когда услышал первые выстрелы с «Крыма».

В это время он был на корме «Одессы», как вдруг, совершенно неожиданно для него, привыкшего уже к перелётам неприятельских снарядов, как к неизменному закону боя, ядро с «Таифа» перебило железную шлюп-балку, пробило насквозь шлюпку, разбило стойку штурвала и, в довершение всего, оторвало ногу унтер-офицеру Ярьсько, которого Корнилов отметил ещё с начала сражения за его расторопность.

Дождь между тем лил уже нешуточный,—стало гораздо темнее кругом, тем более что день клонился к вечеру. Корнилов слышал редкие выстрелы «Крыма», но не было слышно ответных выстрелов противника, и это его поразило вдруг.

— Что? Сдаётся? Спустил свой флаг?—спрашивал он то у своих адъютантов, то у Бутакова.

Но Бутаков даже и сквозь дождь разглядел, наконец, что чёрный пароход уходит, прекратив стрельбу.

— Как уходит? — изумился Корнилов. — Успел исправить повреждения свои под нашим огнём? Что вы говорите такое?

— Уходит на всех парах, — не отрываясь от зрительной трубы, проговорил Бутаков, и тут же вслед за ним разглядел это сам Корнилов.

— Догнать его! — закричал он.

— Едва ли, Владимир Алексич, мы его догоним, — отозвался на это Бутаков, — только зря потеряем время.

Дождевую тучу между тем пронесло, и всем стало видно, что «Таиф» уже вне выстрелов «Одессы» и «Крыма», и с каждой минутой расстояние между ними становится всё больше и больше.

— В таком случае он совсем не был повреждён, — сказал, наконец, Корнилов. — Зачем же, спрашивается, он бежал?

На это никто из адъютантов его и офицеров «Одессы» не нашёл ответа.

Между тем пальба со стороны Синопа не прекращалась, и Корнилов, приказав прекратить погоню и повернуть «Одессу» назад, дал сигнал «Крыму» и «Херсонесу»: «Следовать за мной».

## 5

В Синопской бухте в это время, — то есть в три часа дня, — шла перестрелка русских кораблей с береговыми батареями — третьей, пятой и шестой, так как только четвертая молчала уже, скрытая до основания залпами «Чесмы».

Нахимов не мог признать боя законченным, пока могли ещё наносить вред береговые орудия, хотя турецкие суда и были уже все истреблены час назад.

Если не все они были взорваны, как «Фазли-

Аллах», или «Навек-Бахры», или корвет «Гюли-Сефид», и не все горели, как «Низамиэ», один из транспортов, пароход и купеческий бриг, то, приткнувшись к берегу или к мели, были уже бессильны и в большинстве совершенно лишены своих команд, частью погибших, частью бежавших на берег.

Синоп горел. Зажжённый только ли горящими обломками бывшего «Рафаила», разлетевшимися по его взрыве вдоль набережной, или ещё и гранатами с судов, он пылал в разных направлениях в турецкой части, в то время как греческая оставалась невредимой.

Это объяснялось просто тем, что пятая береговая батарея, наиболее сильная и по числу, и по калибру орудий, и по количеству снарядов к ним, и по своим укреплениям, находилась против турецкой части, прикрывала её, оставляя греческую без защиты, поэтому-то большая часть русских снарядов и направлялась против этой батареи, отчего неминуемо должны были пострадать и пострадали турецкие кварталы.

Нахимов предвидел это, хотя и знал, как неодобрительно посмотрят на это там, в Петербурге, да и в Севастополе, в Екатерининском дворце. Усердно глядя в трубу, он силился разобрать в дыму и пламени, цел ли ещё там хоть один дом с каким бы то ни было флагом, но не находил ни одного такого, явно консульского дома, хотя и сам же приказывал их «свалить по возможности».

Зато он видел и знал, как сильно пострадал в бою его флагманский корабль «Мария»: в нём было до шести десятков пробоин, причём несколько из них подводных. Командиру «Марии» Барановскому перебило обе ноги обломком мачты, разбитой турецким ядром. Мичману Косты-

реву, который был одним из флаг-офицеров Нахимова, оторвало осколком гранаты два пальца на левой руке; кроме него, ранено было ещё два молодых офицера и человек шестьдесят матросов. Шестнадцать матросов оказалось убито.

О потерях на других судах Нахимов ещё не знал, но предполагал, что они не меньше, и это его угнетало.

Но вот «Чесма» и «Константин» справились, наконец, с третьей батареей, а шестая хотя и посылала ещё выстрелы, но редко: большая часть орудий там была уже подбита. Несколько залпов ещё с «Марии» и «Парижа», и пятая батарея была скрыта, а следом за ней перестала действовать и шестая, приведённая к молчанию кораблями «Ростислав» и «Три святителя». Турецкий берег утих.

Но как раз в это время показались один за другим пароходы, шедшие полным ходом к эскадре, а от головного из них, «Одессы», отвалила шлюпка по направлению к турецкому фрегату «Насими-Зефер», рядом с которым горел другой фрегат, подождённый бежавшей командой.

Хозяйский глаз Корнилова усмотрел опасность для первого фрегата от второго и послал лейтенанта Кузьмина-Караваева с командой матросов отстоять непременно от огня «Насими-Зефер», как приз, который должен быть отправлен в Севастополь.

Но чем ближе подходила «Одесса» к русским кораблям, тем яснее видел Корнилов, в каком состоянии некоторые из них, особенно «Три святителя» и «Мария»,—так велики повреждения их в рангоуте и такелаже.

— Однако! Не так дёшево досталась победа Павлу Степанычу!— проговорил он, обратясь к

одному из бывших в его свите—Сколкову, подполковнику, молодому стройному человеку, адъютанту Меншикова, который заранее был назначен светлейшим отвезти в Гатчину, царю, донесение о Синопском бое.

Не вина Сколкова была, что он, в сущности, не был очевидцем боя: он должен был докладывать царю, как очевидец и даже участник, и вот теперь он боялся пропустить какую-нибудь мелочь и очень внимательно оглядывался кругом, чтобы всё запомнить.

— Бой был жаркий, ваше превосходительство! — ответил он Корнилову.—Мне кажется, что больше всех наших кораблей пострадала «Императрица Мария», а Павел Степаныч как раз ведь и должен был находиться на «Марии».

— «Должен был находиться»,—повторял Корнилов.—Вы это говорите таким тоном, как будто он может теперь уж и не находиться там!

— То есть, моя мысль была... — начал было объяснять Сколков, но Корнилов перебил его:

— Мысль эта мелькнула и у меня тоже: «А что если вдруг Павел Степаныч ранен?» Чего, боже сохрани, конечно!.. Передайте, чтобы все кричали «ура»,—обратился он к своему адъютанту, лейтенанту Жандру.

И ещё не поровнялась «Одесса» с «Чесмой», как загремело «ура» матросов. Радость их была неподдельной, радость их была бурной... В этой радости тонула с головой досада на неудачу в деле с «Тайфом».

Но эту радость оборвали по приказу Корнилова, который закричал, подняв глаза к верхней палубе «Чесмы»:

— Здоров ли адмирал?

Этого здесь не знал никто из офицеров.

Но «Одесса» двигалась дальше, к кораблю



«Константин», и, разглядев флаг Корнилова, навстречу пароходу отправился на катере командир «Константина» Ергомышев.

— Жив ли Павел Степаныч, не знаете? — не дождавшись, когда подойдёт поближе катер, нетерпеливо и встревоженно крикнул ему Корнилов.

— Павел Степаныч? Слава богу, жив и здоров! — ответил Ергомышев, улыбаясь, и Корнилов, не задерживаясь долго около «Константина», где матросы также кричали «ура», приказал идти прямо к «Марии».

Подойдя, он покинул «Одессу». Усевшись в шлюпку, поданную с «Марии», и увидав издали на шканцах сутуловатую фигуру Нахимова, он зааплодировал ему, как записной театрал любимому актёру; кричал: «Браво, Павел Степаныч!» и махал приветственно фуражкой.

Встреча двух вице-адмиралов была живописна благодаря непритворной пылкости одного и столь же непритворному спокойствию другого, хотя и находившегося два с лишком часа под огнём.

— Поздравляю, поздравляю от души, Павел Степаныч! Поздравляю с победой! — восторженно говорил Корнилов, обнимая Нахимова.

— Да ведь я тут при чем же, — вполне искренно удивлялся его бурности Нахимов. — Ведь это всё команды сделали, а я только стоял на юте, смотрел и совершенно ничего больше не делал-с!

— Команды?.. А команды кто так обучил, — не вы ли?

— Нет-с, не я-с! — поспешно отозвался Нахимов. — Это всё покойный Лазарев, Михаил Петрович, — всё он, а я что же-с... Я и сам-то только его ученик...

— Ах, скромник! Ах, какой он скромник, этот Павел Степаныч!— любуясь Нахимовым, качал головой Корнилов. — Ну уж, так ли, иначе ли, а победа славная!.. Гораздо выше Чесмы победа! Что Чесма! Выше Наварина даже! Выше, выше Наварина, не спорьте! Я уж вижу, что хотите спорить!.. Потому выше, что там не одни мы были виновники победы: англичане приписали её себе, французы себе... А здесь у вас никаких ни помощников, ни менторов не было — русская победа!

Нахимов, однако, сказал, что хотел сказать:

— Да ведь невелика честь турок-то бить — при Чесме ли, при Наварине ли, здесь ли... Вот кабы других-то удалось бы побить.— другое бы дело-с!.. Однако же, надо правду сказать, и турки дрались хорошо,—ни одно судно ведь не спустило флага, кто-то внушил их командам большую строптивость, вот как-с!

— Это они просто забывали сделать от страха, Павел Степаныч!

— От страха, вы полагаете? Однако же кое-какие суда подожгли сами.

— Сами подожгли? Как так сами?

Этого не ожидал от турок Корнилов. Это его возмутило

— Надобно им было воспрепятствовать в этом!— вскричал он.— Надобно и сейчас, пока ещё не совсем поздно, послать шлюпки ко всем их судам, чтобы спустили флаги, и сейчас же надо перевозить, оттуда на наши суда пленных.

Но, спохватившись, что говорит с Нахимовым, с победителем, командным тоном, Корнилов добавил:

— Это моё мнение, Павел Степаныч, дорогой, а вы, может быть, распорядитесь как-нибудь иначе?

Нахимов успокоил его, сказав:

— Я уже приказал спустить шлюпки и назначил офицеров парламентёрами; сейчас они отправляются... Также и в Синоп назначил мичмана Манто. Он, как грек, сумеет поговорить со здешними греками, если не найдёт в Синопе турок.

— Как не найдёт турок? Почему не найдёт?— встревожился Корнилов.

— Я полагаю, что все уж они бежали отсюда как можно дальше, — спокойно ответил на это Нахимов.

## 6

Шлюпки, катеры, полубаркасы, отправленные с русских судов к не охваченным ещё пока пожаром турецким судам, бороздили в разных направлениях поверхность бухты, теперь уже совершенно утихшей.

Поразительна была эта тишина после недавнего страшного грохота нескольких сот орудий в течение двух с лишним часов. Теперь слышны были только команды или просто окрики на русском языке, а там, со стороны турок—треск дерева, пожираемого огнём; людей нигде на берегу не было видно.

Когда матросы с «Одессы» под командой лейтенанта Кузьмина-Караваева пристали к фрегату «Насими-Зефер», никто не оказал им сопротивления, никто даже не подошёл к трапу, по которому они поднимались на батарейную палубу; можно было думать,—так и подумали,—что на фрегате нет ни одной живой души.

Однако один матрос, подымаясь, заметил, покрутив головою и потянув носом:

— Не-ет, должно, люди тут есть: шибко турецким табаком пахнет!

И действительно, на палубе турок оказалось много: они сидели на полу, подобрав под себя ноги. в почти все безмятежно курили: кисмет—судьба,—ничего не поделаешь, остаётся только ей покориться.

У Кузьмина было человек десять матросов, и его, как и всех матросов, поразило то, что по всей палубе между курильщиками был рассыпан кучками порох, который каждую секунду мог взорваться от первой попавшей в него искры.

— Ваше благородие, что же это такой-ча!— испуганно обратился к лейтенанту один старый матрос, остановясь у открытой двери.—Ведь это у них в кройт-камеру двери!

— Сейчас же закрой! — крикнул ему Кузьмин, повернувшись к туркам, так scomандовал: — Не ку-ри-ить!.. Бросить все трубки за борт! — что турки проворно вскочили и опустили руки по швам, хоть и не поняли команды.

Среди матросов был один, немного говоривший по-татарски; но пока он объяснялся с ближайшими к нему турками, другие матросы поспешно кинулись отбирать трубки и швырять в море.

— Залить весь порох на палубе водой!— снова scomандовал своим лейтенант, когда отобра-ны были трубки, и матросы рассыпались по фрегату, отыскивая ведра, так как не надеялись найти у турок помпу, и ругались при этом:

— Вот народ бесхозяйственный! Вот лодыри, черти!.. Возля пороху сидят и, себе знай, курят, как миленькие! Ну, и наро-од!

Посчитали потом пленных.—оказалось около двухсот человек здоровых, человек двадцать раненых. В стороне лежали убитые—восемнад-

цать тел. Остальные из команды фрегата, как оказалось, пустились вплавь к берегу, и одни доплыли, другие утонули.

Около капитанской каюты нашли тело командира фрегата.

Нужно было расклепать якорную цепь, чтобы отвести фрегат подальше от другого жарко пылавшего фрегата, но это оказалось не так просто: болты были сильно заржавлены. Принялись рубить одно из звеньев цепи, а пока возились с ней одни матросы, другие занялись перевозкой пленных на ближайший корабль — «Три святителя».

— А раненые? Что же делать с ранеными?— раздумывал вслух лейтенант, не получивший на этот счёт никаких приказаний от Корнилова, и решил вдруг внезапно:— Чорт с ними! Перевезти их на берег,— пусть их турки лечат, а не мы будем с ними возиться!

— Ваше благородие,— обратился к нему матрос-переводчик:— Тут, коло раненых, дохтор ихний, турецкий, есть, только он из армян.

— Отлично! Вот пусть он и отправляет в синопский лазарет. А в помощники ему оставить, так и быть, на каждого раненого по здоровому турку!

Когда переводчик-матрос передал лекарю, что сказал лейтенант, тот только высоко вздёрнул пышные чёрные брови и перевёл вопросительные глаза на русского лейтенанта. Однако вскоре убедился, что никакого издевательства нет в том, что он услышал.

Катер подтащил на буксире вместительную турецкую баржу, стоявшую между фрегатом и берегом и счастливо уцелевшую, потом приказано было двадцати здоровым турецким матросам уложить на эту баржу своих раненых товари-

щей, перетащить туда же и их и свой багаж и запас сухарей, взятых из брод-камеры. Наконец Кузьмин-Караваев кивнул на баржу лекарю-армянину, сказав при этом:

— В Синоп, в госпиталь...

Лекарь понял, что он не пленный больше; упав на колени, он запел от радости «Ave Maria». Радость его сообщилась и туркам, усевшимся уже возле раненых, и они чуть не опрокинули баржу, бросившись к борту её, чтобы приветствовать русского офицера криками благодарности.

Неспущенный турками флаг был снят и отправлен на «Марию», Нахимову, как трофей, а фрегат отвели, наконец, подальше от его пылавшего товарища и от русского корабля, но, увы, он был до того разбит снарядами, что дотащить его до Севастополя было бы совершенно невозможно. Решено было поэтому сжечь его, чтобы не оставлять туркам.

В таком же точно состоянии были другие два фрегата, уцелевшие от огня. На флагманский «Ауни-Аллах» взошёл с посланной Нахимовым шлюпки мичман Панютин с несколькими матросами. «Ауни-Аллах» тонул уже, большая часть его корпуса погрузилась в воду.

На нём не думали уже найти никого, поэтому велико было удивление мичмана, когда он увидел на палубе седобородого старика, по пояс в ледяной воде, державшегося дрожащими руками за пушечный брюк,—то есть канат, которым орудие прикрепляется к борту.

Глаза его были выкачены, лицо тряслось, форменная феска была надвинута на оттопыренные уши, но ни шинели, ни даже мундира на старике не было,—только рубашка, мокрая вплоть до ворота.

Старик стоял на одной левой ноге,—правая

оказалась перебитой; более бедственное положение трудно было представить.

Панютин сам кинулся в чём был в воду, чтобы его вытащить, так как гибели судна можно было ожидать с минуты на минуту. Он не знал, что это за старик. Когда матросы на руках втащили погибавшего и спасённого от близкой смерти в свою шлюпку, он только слабо стонал и бился от потрясающего озноба.

Его отправили на «Марию», и только там подтвердилась неуверенная догадка мичмана, что спасённый им не кто иной, как сам Осман-паша.

Обогретый, перевязанный судовым врачом Земаном, он рассказал Нахимову и Корнилову на плохом французском языке, как его не только бросила, но ещё и ограбила команда фрегата, спасшаяся с тонувшего судна на берег.

— Показалась течь,—рассказывал бедный адмирал,—вода всё прибывала... Надежд уже не было никаких... И вот началось бегство и офицеров и матросов... А я был ранен в этот как раз момент и лежал с перебитой ногой. Я приказывал взять меня в шлюпку, но меня уже не слушали... Раненых всех бросали, если они не могли двигаться сами, не могли плыть к берегу, потому что шлюпки ушли, но они не вернулись... негодяи бросили их там, на берегу, а сами бежали. Когда один матрос приподнял меня, я подумал, что он хочет отнести меня на руках на шлюпку, но он только вытащил мои золотые часы, положил их себе в карман и побежал дальше. Когда другой матрос присел около меня на корточки, я думал: вот этот помнит воинскую дисциплину, и он возьмёт меня, старого своего начальника, чтобы я не попал в плен к русским... Но он только обшарил меня, вытащил кошелек с деньгами и побежал догонять това-

рищей... Тогда я собрал все силы и кое-как поднялся; да и лежать было уже нельзя,—на палубе оказалось на четверть воды. . Последние матросы оставались—трое... Они раздевались, чтобы удобнее было плыть... Я им крикнул: «Возьмите меня!..» и они подошли... И они раздели меня, точно я тоже мог бы плыть с моею перебитой ногой рядом с ними... Они раздели меня, так что я остался в одном белье, потом связали всё мое верхнее платье в узел, и один из них, самый крепкий, прикрепил верёвкой узел к своей спине и бросился в море плыть с ним к берегу... А я остался!.. Я остался в воде, достигавшей уже до колен, раненный вашим снарядом и ограбленный и брошенный на погибель своей командой, — я, который сорок два года провёл на морской службе и последние десять лет из них был адмиралом его величества султана!..

Старик плакал, рассказывая это врагам, которым обязан он был своим спасением.

Слушая его, Корнилов изумлённо пожимал плечами и вопросительно глядел на Нахимова, а когда Осман-паша попросил разрешения укутаться с головой в одеяло, так как теперь весь дрожал он больше нервической дрожью, чем от озноба, Корнилов не выдержал, чтобы не обратиться к победителю турецкого адмирала с вопросом:

— Ведь даже и думать нельзя, Павел Степаныч, чтобы наши матросы позволили себе что-нибудь подобное с кем-либо из адмиралов нашего флота, а?

Нахимов поглядел на него с оттенком укоризны и ответил:

— Что касается меня, Владимир Алексеич, то мне даже и вопрос подобный как-то никогда не приходил в голову.



Однако не один только Осман-паша был оставлен на гибель своими же матросами: та же участь постигла и тяжело раненного командира фрегата «Фазли-Аллах» и капитана одного из корветов, и так же точно, как и Осман-паша, спасены от неминуемой для них смерти они были русскими моряками.

Один из них при опросе рассказал, что был очевидцем того, как русский снаряд попал в шлюпку, на которой хотел переправиться на берег с горевшего «Низамиэ» Гуссейн-паша. Разбитая шлюпка перевернулась килем кверху, и адмирал, побарахтавшись с минуту, пошёл ко дну.

Синоп же между тем горел, и незаметно было, чтобы кто-нибудь тушил там пожары, хотя перестрелка и прекратилась.

Мичман Манто с небольшой группой матросов довольно бесстрашно шагал по пустынным улицам, воздух которых был горяч, душен, пропитан гарью и дымом. На рукаве чёрной шинели мичмана белела повязка парламентаря; в кармане шинели лежала немногословная бумажка, полученная непосредственно от самого Нахимова, — обращение к населению города, которому рекомендовалось немедленно приступить к тушению пожаров и восстановлению порядка. При этом население предупреждалось, что если раздастся хотя один выстрел по русской эскадре, то весь город будет уничтожен бомбардировкой.

Пылали и рушились здесь и там крыши домов, ревел в ужасе скот, выли собаки, метались в дыму голуби, но что касалось населения, то оно не попало в мичману Манто в турецкой части Синопа.

Напротив, население греческой части, где, кстати сказать, не горел ни один дом, почти всё было на улицах.

Зато и стремление греков было не из Синопа к горам, густо поросшим лесом, а из Синопа — к морю, где стояли русские суда.

— Возьмите нас всех с собой! Возьмите нас всех в Россию! — кричали, густо обступив мичмана Манто, греки и гречанки.

— Что вы, что вы! Куда же нам взять несколько тысяч человек? — пробовал возражать Манто.

Но греки были в паническом ужасе. Они кричали:

— Нас всех завтра же к вечеру перережут турки, если вы утром уйдёте отсюда!

— Мы христиане! Русские должны спасти своих единоверцев!

— Мы пошлём депутацию к вашему адмиралу.

— Что же может сделать наш адмирал? Куда он денет несколько тысяч человек? Суда наши не поднимут столько! — пытался урезонить кричавших одноплеменников своих мичман Манто, но тем это казалось только отговоркой.

Они клялись, что не возьмут с собой никакого багажа, что им лишь бы спасти свои жизни, что русский царь будет благодарен за них своему адмиралу, так как они, синопские греки, в большинстве своём или корабельные плотники, работавшие здесь, на верфи, или каменщики, слесари, кузнецы, огородники, садовники. — вообще рабочие люди, которые будут трудиться и в России.

— Всё это хорошо, но почему вы всё-таки так боитесь, что турки вас перережут? — спросил Манто. — За что именно будут они вас резать?

— Как за что?— удивились в свою очередь греки такой недогадливости русского офицера. — Ведь турецкий квартал сгорел, а не наш,— вот за это и будут резать.

— Попробуйте счастья, пошлите депутацию к адмиралу Нахимову,—сказал, наконец, Манто.-- Только лучше бы вам было вооружиться самим чем попало и защищаться от турок, если они нападут...

Из лиц, которых можно было хотя бы с натяжкой причислить к властям, Манто, после долгих поисков, нашёл только австрийского консула, которому и передал требование Нахимова. Греки же действительно послали депутацию на корабль «Мария», и Нахимов, выслушав взволнованных синопцев, сказал, что он был командирован сюда для сражения с турецкой эскадрой, а совсем не за тем, чтобы вывозить отсюда в Россию несколько тысяч человек подданных султана, и что этот шаг, если бы он его сделал, грозил бы большими политическими осложнениями для России, не говоря уже о том, что суда его теперь слишком чувствительны ко всякой лишней тяжести, так как очень повреждены.

К этому времени им были уже собраны сведения о том, насколько пострадали суда его отряда. Кроме «Марии», больше других пострадал корабль «Три святителя»: на нём насчитывалось до пятидесяти пробоин, и все мачты были сбиты. «Константин» также остался без мачт и получил тридцать пробоин. Посчастливилось только одному «Парижу»: у него было всего шестнадцать пробоин и мачты целы, а потери в людях ничтожны, хотя он сражался с несколькими турецкими судами и самой сильной из береговых батарей — пятой. Не зря Нахимов хотел во

время боя благодарить сигналом команду «Парижа».

Больше других потерял людей «Ростислав» из-за взрыва кокора: на нём вышло из строя свыше ста человек,—почти половина общих потерь эскадры. У турок же, по подсчёту их пленных офицеров, погибло в этот день не менее четырёх тысяч.

В темноте наступившей ночи последние турецкие фрегаты, подожжённые командами русских матросов, пылали зловеще и жутко, но на израненных в бою кораблях багровый свет пожаров как в море, так и в Синопе помогал судовым плотникам заделывать бреши в обшивке и устанавливать запасной рангоут.

Среди пробоев были и подводные,—их нужно было заделать в первую очередь, чтобы вода не залила трюмы. За необходимым ремонтом судов следили все четыре адмирала, и всю ночь в турецкой бухте стучали русские топоры и молотки, стоял гомон горячей работы.

«Мария» и «Три святителя» особенно беспокоили Нахимова.

— Не знаю, не могу судить теперь, ночью, дойдут ли они до Севастополя, Владимир Алексеевич, — обратился он к Корнилову. — Очень побиты оба — и «Три святителя», и «Мария».

— На буксире у пароходов придётся их вести, — отозвался на это Корнилов, — но при этом условии должны дойти.

— Должны, да-с, должны... А вдруг в открытом море прихватит шторм такой силы, как был восьмого числа? Зальёт! Потонуть могут...

— Ну, так уж непременно и шторм! Не шторм, а неприятельская эскадра может нас прихватить на обратном пути, вот что скажите, Павел Степаныч!

— Это было бы всё-таки лучшее из двух зол: тут, с одной стороны, боеспособность нашего отряда не потеряна, да у нас тем более есть ещё в запасе два фрегата, не бывших в бою, и пароходы... А с другой стороны, такой силы эскадру, как наша, едва ли пошлют из Босфора.

— Вот видите, и вы правы, конечно!.. Такой большой силы эскадру турок мы встретить не можем, а с Англией и Францией мы ещё пока в мире, так что их судов мы во всяком случае не встретим.

— Зато нас встретит весь Севастополь, когда мы будем входить в рейд, Владимир Алексеич, вот что-с! — горевал Нахимов.—И вот мы входим, победители хотя, но в каком плачевном виде!

— Павел Степаныч! Не забывайте Нельсона! Разве не приходилось ему приводить свои корабли в гавань со сбитыми мачтами? Разве так уж дёшево достались англичанам победы при Абукире и Трафальгаре?.. А Сервантес, Сервантес? Помните, что он писал о битве при Лепанто? По его мнению, это было величайшее сражение как прошедших веков, так и будущих! Но где же было ему в шестнадцатом веке предвидеть Синопский бой!

Говоря это, Корнилов не то, чтобы задавался целью поднять настроение Нахимова,— тот не нуждался для этого в сравнениях и восклицаниях,— нет, он был вполне искренно восхищён результатами боя, особенно, когда убедился, наконец, что захватить при столь упорной защите хоть одно турецкое судно в исправном виде было нельзя.

Матросы работали в две смены, хотя и нуждались в полном отдыхе после жестокого боя.

Но чуть только рассвело настолько, что можно было разглядеть сигнал, поднятый на «Марии», судовые священники принялись служить заупокойную обедню и панихиды по убитым, которых на всех кораблях было около сорока человек матросов и офицеров.

На «Чесме», впрочем, хотя и обедня и панихида служились, как на других судах, но не по своим убитым, так как их совсем не было здесь, да и раненых оказалось только четверо. Зато о. Луке на «Марии» пришлось отпевать шестнадцать человек, тела которых торжественно опускали в море одно за другим.

Первый и единственный раз за всю историю России и Турции служилась заупокойная обедня и панихида на боевых судах в Синопской бухте; матросы-певчие истоиво пели: «И вижу во гробе лежащую нашу красоту, безобразну, бесславу, неимущую вида...» А между тем не было никаких гробов, и красота, безмолвно лежащая в ряд на палубе, была отнюдь не бесславна.

Можно было бы, конечно, доставить тела убитых в Севастополь, где схоронили бы их в гробах на кладбище, чтобы на их могилы пришли иногда погрустить их домашние, у кого они были, но величав обычай отдавать умерших ли, убитых ли во время плавания моряков их стихии.

Отдали последний долг павшим, и на судах загремел молебен. Поздравили потом команды судов с победой; матросы прокричали «ура», и прерванная часа на два работа началась снова.

В бухте было затишье, но в открытом море с

утра завывал норд-ост и перекатывались огромные валы. Такое состояние моря настойчиво требовало, чтобы суда, имевшие много пробоин, были починены на совесть, — это понимали все матросы; адмиралы же знали, со слов Осман-паша, что ещё 15-го (27) числа была послана им телеграмма в Константинополь о грозящей турецким судам и городу опасности от блокирующих бухту русских кораблей.

Четыре дня прошло уже с того часу, когда отправлена была телеграмма, а расстояние от Босфора до Синопа немногим больше расстояния от Синопа до Севастополя.

Неизвестно, конечно, было, как отнеслись французы и англичане к телеграмме Осман-паша, но вестник поражения, адмирал След на «Таифе», при его быстром ходе, в этот день к вечеру мог уже быть в Босфоре, и Нахимов вполне справедливо оценивал своё положение, когда говорил Корнилову:

— Мы не находимся в состоянии войны с Францией и Англией, это верно-с, но если они только желают воевать с нами, то лучшего повода к войне у них и быть не может,— смею вас уверить, Владимир Алексеич... И зачем им объявлять нам войну, когда без этой формальности обошлись даже турки? Они могут просто ввести весь свой соединённый флот в Чёрное море и напасть на нас по пути в Севастополь, если мы сегодня же не успеем починиться как следует, чтобы можно было сняться нам завтра утром... Вот как-с обстоит дело, на мой взгляд-с!

— Прежде всего, не успеют они этого, Павел Степаныч, хотя флот для нападения имеют вполне достаточный... — начал было развивать свои предположения на этот счёт Корнилов, но Нахимов поспешил вставить:

— Не успеют только в том случае, если мы успеем починиться как следует!

— Это само собою разумеется... А затем, едва ли осмелятся они даже выйти из тихого Босфора в такую бурную погоду,— вот что, мне кажется, важнее. Но самое важное всё-таки не в этом, а кое в чём другом, а именно: они, то есть англичане и французы, имеют теперь повод для войны с нами, но не забывайте того, Павел Степаныч, что подготовили-то войну они только здесь, в Турции, а не у себя дома,— вот в чём тяжесть вопроса! Там, у себя, они только теперь начнут звонить о войне на всех колокольнях... Так что починиться мы успеем, хотя мешкать нам нельзя,— надо добраться поскорее до Севастополя.

— Ну, да ведь мы и не мешкаем: стучим что есть мочи!

Стук на кораблях действительно был вполне добросовестный: образовалась как бы целая русская верфь посредине турецкой бухты, в ближайшем соседстве с верфью синопской.

Команды с четырёх пароходов,— так как пришёл ещё и «Громоносец»,— а также с двух фрегатов, «Кагула» и «Кулевчи», помогали командам кораблей. Запасного леса на судах было довольно, так что незачем было тащить необходимый для ремонта материал из Синопа, как неприкосновенны остались и мирные подданные султана — греки, неотступно умолявшие Нахимова и Корнилова и в этот день, чтобы их увезли в Россию.

Вечером оба вице-адмирала заняты были осмотром всех шести кораблей, внимательнейшим и подробным. Осмотр показал, что ещё немного, и сделано будет всё, что возможно было бы сделать, не заводя кораблей в доки. В ночь



на двадцатое работы утихли, а утром вся эскадра снялась с якоря. Позади чернели, дотлевающая, днища турецких судов, чернело и дымилось пожарище в турецком квартале Синопа, но это уже оставлялось, оставалось, на глазах уходило в прошлое, а впереди, в ближайшем будущем, открывалось во всю свою неприветливую ширину море, на котором не только не улеглись, но не собирались и через два-три дня улечься крупные волны.

Ветер продолжал дуть с северо-востока, тая в себе возможность перейти в шторм. Но медлить с выходом в родной порт было уже нельзя, и эскадра пошла огибать полуостров.

Однако не вся: «Мария», только пройдя с мило, притом в бухте, дала течь, и её пришлось оставить на дополнительный ремонт, порученный контр-адмиралу Панфилову. Ремонт был закончен только к трём часам дня, когда этот более всех других избитый корабль смог, наконец, отважиться идти вслед за другими судами на буксире «Крыма» и под конвоем обоих фрегатов.

Но из ушедших утром только «Париж» и «Чесма» могли двигаться без помощи пароходов, как наиболее уцелевшие. «Одессой» был взят на буксир «Константин», несший теперь флаг Нахимова, «Херсонес» вёл громадину «Три святителя», «Громоносец» тащил «Ростислава».

Однако слишком сильная зыбь, встреченная в открытом море, заставила пароходы отдать буксиры, а корабли — натянуть паруса. «Чесма» и «Париж» явились в этом опасном рейсе конвоирами для остальных. Корнилов же, снова на «Одессе», на всех парах отправился в Севастополь, чтобы не только стать вестником победы, но и выслать навстречу эскадре-победительнице возможную помощь.

Для Нахимова наступили часы гораздо большей тревоги за свои суда, чем это было во время боя. Часы эти тянулись утомительно долго и в первый день плавания, но наступившая ночь не только не принесла покоя,—напротив, усилила тревогу.

Особенно старый, ровесник самому флагману корабля, корабль «Три святителя» внушал опасения... Что, как не выдержат пробки сильных и настойчивых ударов волн?.. Ведь это тараны, а не волны! Корабли то зарываются в них, то взлетают стремительно. Что, как раскроются их раны как раз в эту беспросветно тёмную ночь, когда так издевательски свистит в снастях ветер? Как спасти команды тонущих кораблей в такую погоду ночью? Ведь половина их, если не больше, непременно должна погибнуть!..

Итти вперёд нельзя,—однако и не итти нельзя! Можно считать почти чудом, если эскадра дойдёт благополучно, но она должна притти благополучно, иначе такой дорогой ценой будет куплена синопская победа, что можно уже будет не считать её и победой: вместо славы для черноморцев — всемирный позор.

Нахимов заснул только на рассвете, когда суда сигнализировали, что всё благополучно. Проснувшись в обед, он услышал от одного из своих адъютантов, что грозивший всё время разыграться в шторм шквалистый норд-ост утихает.

— Прекрасно-с! Очень хорошо-с! — обрадовался Нахимов.— Но вот вопрос: где-то теперь «Мария»? Удалось ли исправить её как следует?

И весь остаток этого второго дня плавания, которое стоило большого сражения. Нахимов провёл, не расставаясь со своею трубой: всё ду-

мзлось ему, всё хотелось думать, что сзэди, на горизонте, смутно замаячат мачты четырёх судов эскадры Панфилова.

Оба фрегата были легки на ходу, у «Марии», нового корабля, тоже был хороший ход... был, но каков-то теперь?

Нахимов за ужином должен был признаться вслух, что для него этот рейс гораздо беспокойнее любого боя. В эту ночь он хотя и лёг спать, но часто просыпался и требовал ответа: как «Три святителя»? как «Ростислав»? не подошла ли «Мария»?

Радость ожидала его утром двадцать второго числа: ему доложили, что милях в четырёх к западу замечены суда, идущие тем же курсом. Он тут же вышел на ют и навёл трубу.

— Ну, вот! Ну, вот! Это «Мария»! — обрадованно вскричал он. — «Мария» и оба фрегата... И пароход... Они нас обходят. И очень хорошо-с, прекрасно-с! Поднять сейчас же сигнал: «Вице-адмирал Нахимов благодарит контр-адмирала Панфилова...»

Сигнал был поднят. Небольшая эскадра Панфилова около часу красовалась перед глазами Нахимова, потом, уходя вперёд, скрывая свои мачты за горизонтом. А в обед, когда стих ветер, показался пароход «Одесса», высланный на помощь эскадре. Наконец можно уже стало различить хорошо знакомые всем очертания берегов Крыма и белеющие в голубом мареве точки Севастополя, куда раньше своих боевых товарищей пришла гораздо опаснее их израненная «Мария».

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Севастополь того времени был город, тесно сплетённый с флотом. Огромные здания береговых фортов, правда, были тогда уже возведены и поражали своими исполинскими размерами, но вооружение их не было ещё закончено.

В Петербурге, в военном министерстве, заседал «учёный артиллерийский комитет», составивший новую программу вооружения крепостей, и летом, для проведения этой программы, приехал генерал Безак.

Политическое положение после разрыва с Турцией было тогда уже очень тяжёлым: эскадры держав-покровительниц Турции стояли вблизи Дарданелл, а «учёный комитет» старался действовать методически, систематически, стратегически — всесторонне обдуманно.

Даже Меншиков, тоже не проявлявший никаких признаков торопливости, и тот возмутился действиями Безака, который, выполняя программу комитета, прежде чем вооружать форты поновому, приказал совершенно разоружить их.

«Севастополь лишается всех средств защиты в продолжение по крайней мере двух месяцев. Неужели к этому и стремилась новая программа? — писал Меншиков военному министру, князю Долгорукову. — Этого нельзя считать благоразумным в эпоху, когда эскадры двух морских держав находятся в таком положении, что через пять или шесть дней могут явиться перед Севастополем. Я не говорю, чтобы это было вероятно, но в случае войны считаю это дело возможным».

Однако именно то, что считал возможным

Меншиков, представлялось совершенно беспочвенным в военном министерстве, и тот же генерал Безак, вновь командированный в Крым, в октябре писал в докладной записке военному министру, что для охраны Евпатории вполне достаточно одной сотни казаков, что же касается Севастополя, то «быть может, неприятель будет стараться высадить десант, дабы действовать с сухого пути; в таком случае резервная бригада в самом Севастополе, а на Северной стороне один полк пехоты с полевой батареей, при содействии морского ведомства, кажется, достаточно охранили бы Севастополь».

Таким образом, устами своего представителя военное министерство считало, что три полка пехоты вполне способны защитить Севастополь от натиска трёх европейских держав, если соблюдено будет только одно условие: «поддержка морского ведомства».

Поэтому-то гарнизонной артиллерии было всего-навсего четыре с половиной роты, а между тем, чтобы обслуживать все крепостные орудия, нужно было вчетверо более артиллерийской прислуги. Это заставило Меншикова завербовать из всякой нестроевины сухопутного и морского ведомства в артиллеристы людей, не имеющих никакого понятия об орудиях и снарядах, и приказать заняться обучением их в самом спешном порядке.

Обучали, не прибегая ни к каким сложным командам, чтобы зря не затуманивать мозги: «Подай, братец!..», «Вложи, братец!..», «Пали, братец!..». «Ядро, братец, — всё равно, что крутой хлеб, а бомба — пирог с начинкой...»

Подавали снаряды, вкладывали в орудия, паляли, учились отличать ядро от бомбы, — поджидали нашествия Европы, надеясь на «поддержку

морского ведомства». А морское ведомство действительно было и многолюдно и благоустроено.

Морское ведомство первым приняло вызов противника; морское ведомство снарядило суда в экспедицию против турецкой эскадры; морское же ведомство — семьи матросов с Корабельной слободки и офицеров из города — высыпало, в этот день возвращения русских судов в родной порт, на берег и покрыло шляпками и яликами рейд и Южную бухту.

Привезённая Корниловым весть о победе разнеслась по городу с сорокатысячным населением не больше как в течение часа, и с раннего утра двадцать второго числа на пристань и на берег к маяку спешили толпы народа.

С маяка далеко было видно море, на маяк были обращены нетерпеливые взгляды всех ожидающих победоносных кораблей. И вот перед полднем с маяка раздалось желанное:

— ЕСТЬ! Видно!.. Идёт наша эскадра!

Это шла «Мария» на буксире парохода «Крым», а по обеим сторонам её фрегаты «Кулевчи» и «Кагул».

Для встречи эскадры празднично расцвечены были флагами все суда, стоявшие на рейде: линейные корабли, фрегаты, корветы, бриги, тендеры, бомбарды, яхты, транспорты... По ряам судов расставлены были матросы в парадной форме, — как знак высшего почёта виновникам блестящей победы. Там и здесь, на берегу и в шляпках, ярко пестрели букеты цветов, — георгины, хризантемы — в руках детей и женщин. Встреча победителей всею многотысячной морской семьёй Севастополя готовилась исключительно торжественная. Но... всё ограничилось в этот день только тем, что кричали «ура» и приветственно махали букетами, платками, фуражками...

Достаточно оказалось только одного человека, который оледенил вдруг весь этот горячий восторг: таким человеком был светлейший князь

Его катер появился на рейде тогда, когда — приблизительно полчаса спустя после прихода «Марии» — торжественно вошла с моря на рейд вся остальная нахимовская эскадра.

Да, была совершенно исключительная торжественность в этих пробитых во многих местах боевых кораблях с их парусами, изорванными книппелями и ядрами, со свежими заплатами на изувеченных мачтах! Одержав одну победу в Синопской бухте над турецкой эскадрой и батареями, они одержали и другую — над бурным морем. Вид этих кораблей, один за другим, вслед за флагманским «Константином», входивших на рейд, вызывал взрывы ликования с бесчисленных шлюпок и с берега. Даже то, что первые три из них, «Константин», «Три святителя» и «Ростислав», шли на буксире пароходов, совсем не умаляло, а как будто увеличивало любовь к ним, как к живым существам: подвиг их был труден, но тем не менее он совершён.

И когда отвалил от Графской пристани и пошёл на всех вёслах навстречу эскадре вместительный катер князя, все приготовились к началу большого праздника, все соответственно настроились, все впились глазами в этот катер, буквально летевший вперёд: гребцы-матросы старались не потому только, что везут князя, своё высшее начальство, — но главным образом потому, что везут его славным бойцам навстречу...

И доставили, подошли к «Константину»: увидели: стоит на палубе «отец», Павел Степанович, около него офицеры, а за ними — длинные ряды матросов... И как ревностно исполнили они, греб-

цы, команду князя — подняли вёсла. салютуя Нахимову!..

Этим жестом Меншиков как бы действительно хотел выразить свою признательность победителю при Синопе, неутомимым выслеживанием противника в течение нескольких недель в исключительно трудных условиях крейсерства подготовившего блистательный успех.

Но вот он, высокий и узкий старик с холодным взглядом сановника, взошёл по трапу на палубу и... прежде чем подойти к Нахимову, гнусявым, брезгливым голосом приказал поднять карантинный флаг, так как на «Константине» были пленные турки, а именно: раненый Осман-паша и два командира сожжённых фрегатов.

И, только отдав этот приказ, он соблаговолил выслушать рапорт Нахимова, принять от него донесение о подробностях боя и, наконец, поздравить его с победой.

Потом, как бы вспомнив, что надо бы сделать ещё и это, он поздравил офицеров и матросов, а после их обычного в подобных случаях ответа подал руку Нахимову, прощаясь, и повернулся уходить.

— Ваша светлость! — в полном недоумении обратился к нему Нахимов.— Этот флаг карантинный означает, разумеется, что никто из экипажа корабля не может сойти на берег?

— Разумеется! А что же ещё он может означать? — сухо ответил ему князь.

— Значит, и на меня тоже распространяется это?

Меншиков сказал ещё суше, чем раньше:

— Поскольку и вы, Павел Степанович, вернулись из Турции, неблагополучной по холере, и привезли пленных турок, то, конечно, нельзя будет исключения сделать даже и для вас.



— И что же, как долго будет поднят у нас этот флаг? — спросил Нахимов.

— А это уж я тогда дам вам знать, — ответил Меншиков, подходя к трапу.

Другие корабли он не посетил, но на всех заплескались карантинные чёрные флаги.

День, как по заказу для всенародного торжества, выдался тёплый, тихий и яркий; тысячи людей приготовились к этому торжеству. И вот — никакого торжества не вышло.

Катер светлейшего полетел к Графской пристани, и от кораблей-победителей, как от зачумленных, мало-помалу отхлынули все шлюпки, вышедшие им навстречу так радостно.

2

Бывает такая высокая степень упоённости своей властью, что даже море приказывают бичевать цепями за то, что разметало и потопило оно корабли; так, если верить древнему историку, поступил царь Ксеркс.

В Севастополе, весьма удалённом от Петербурга, вся власть была в руках Меншикова, и в глазах его, море-то вело себя довольно сносно, — несносен был только Нахимов, который не дождал Корнилова, чтобы передать ему и командование над отрядом, и лавры победы.

Корнилов на «Одессе» пришёл в Севастополь почти на сутки раньше всей эскадры, и у Меншикова было достаточно времени, чтобы узнать все подробности боя и принять то решение, какое он принял.

Корнилов был очень возбуждён, когда рассказывал ему о разгроме турецкой эскадры; он переживал виденное и старался как можно ярче передать то, чего не видел сам, но что неотступ-

но рисовалось перед ним по результатам боя. Глаза его горели, руки зябли, так что он часто потирал их одна о другую, чтобы согреть.

Закончил он теми же самыми словами, какие навернулись ему на язык при свидании с Нахимовым:

— Победа знатная! Выше Чесмы и выше Наварина!

— Но весь Синоп, вы говорите, сожжён!—недоуменно отозвался на весь его доклад Меншиков.

— Да, половина Синопа—турецкая—сожжена.

— Это всё равно, половина или больше! Важно то, что поступлено вопреки воле его величества,— это раз, и вызовет неизбежно политические осложнения,— это два!

Корнилов услышал от светлейшего то самое, что говорил Нахимов, но говорить это там, в виду горевшего Синопа, было одно, слышать же здесь, в Севастополе, притом из уст Меншикова, показалось ему совсем другим,— как бы незаслуженным упрёком. Подумалось иронически крыловское: «Чему обрадовался сдуру? Знай колет,— всю испортил шкуру!..» И он возразил горячо:

— Павел Степанович, ваша светлость, разумеется, принял все меры, чтобы не было в Синопе пожаров от наших снарядов, но ведь в пороховом дыму невозможно точно управлять огнём, так что, конечно, несколько бомб могли произвести пожары... А главное, ветер был с моря на город и нёс туда всякие пылавшие обломки с турецких судов... Так что сами же турки виноваты в пожаре Синопа: слишком уж тесно прислонились к нему спинами,— вот и последствия!

— Союзники турок этого разбирать не будут, чтобы объявить нам войну,—жёстко сказал Мен-

шиков.—В сущности, это даже и не победа наша над турками, а последняя грань обострения наших отношений с англичанами и Наполеоном!

— То же самое и я говорил Нахимову,— согласился с князем Корнилов.

— Ну, вот видите!

— Ту же мысль развивал мне и он: по мнению Павла Степановича, война с Европой теперь неизбежна.

— Так что, значит, и он, этот тупой человек, понял, что он такое сделал? — как бы удивился даже Меншиков.—Поздно понял!

— Может быть, ваша светлость, он понимал это и раньше, до боя, но не нашёл способов поступить иначе,— осторожно вставил Корнилов.

— А раз не нашёл способов, то должен был подождать вас!

— Но ведь он не был извещён и даже не мог быть извещён заранее, что я назначаюсь вами командовать его отрядом...

— Э-э, об этом умные люди догадываются сами,— презрительно ответил светлейший и поморщился, но большим усилием воли предотвратил гримасу.— А то что же он сделал? И суда ему все изрешетили турки — страшно смотреть; и потери немалые — триста человек; и, в довершение всего, мы через неделю-другую увидим с нами англо-французский флот перед Севастополем. Что же он думает,— что ему полного адмирала даст государь, и он таким образом станет вам начальником? Нет, не получит он адмирала!.. Георгия—да, но не повышение в чине,—об этом будет сделано мною особое представление, так что вы, Владимир Алексеич, можете быть на этот счёт спокойны.

Корнилов сидел тогда у светлейшего, как на иголках. Он достаточно уже знал своего непо-

средственного начальника, чтобы не видеть истинной причины его недовольства. Он понимал, конечно, что, сгори хоть весь Синоп, лишь бы не Нахимов, а он, Корнилов, вёл бой с турецкой эскадрой, Меншиков не поставил бы этого ему в большую вину. Дело было только в том, что ему, князю, приходится представлять к высокой награде вице-адмирала, который был ему крайне противен.

Между тем бой прошёл бы именно так, как он был подготовлен Нахимовым, если бы этот последний подождал всего какой-нибудь час, когда пароход «Одесса» открыл бы, где именно стоит русская эскадра, и бумажка о передаче командования была бы вручена по назначению.

Бой прошёл бы так же точно или приблизительно так же, как он и прошёл, победа русских судов осталась бы тою же блестящей победой, но о нём, о Корнилове, пошла бы в Петербург такая бумага князя, в результате которой он получил бы, наверное, не только георгия, но ещё и чин адмирала.

Несколько ничтожных как будто причин: не совсем точно взятый курс пароходов, и в то же время значительная передвижка эскадры Нахимова к востоку, в сторону Синопа, сквернейшая погода утром в день боя и потому из рук вон плохая видимость, а главное, незнание того, что предрешён уже момент начала сражения,—и вот, в результате всего этого потерян исключительный случай вознести своё имя на большую высоту, поставить его в ряд исторических имён России.

— Да, признаться, поторопился Нахимов, очень поторопился!.. Весьма поспешил начать бой в самых невыгодных для нас условиях!.. Задержись

он на час, на два, и обстоятельства сильно бы изменились... Можно было бы обсудить как следует все доводы «за» и «против» и принять наилучшие решения.

— Я говорю о том же самом,—энергично поддержал его Меншиков. — А то что же случилось, посудите сами! Ведь это называется отдубасить своими собственными боками! Вы говорите, что могут даже быть потерянными «Императрица Мария» и «Три святителя»?

— Очень плохи они, ваша светлость! Если дойдут благополучно в такую погоду, это будет стоить целой победы если и не в таком бою, как в Синопском, то всё же в серьёзном...

Точнее говоря, он нечаянно сказал это вполне теми словами, какие и были необходимы, так как о решении Нахимова оставить «Марию» на дополнительный ремонт он не знал, когда отправлялся в Севастополь.

— Вот видите!.. Недоставало ещё этого, чтобы они затонули! — подхватил Меншиков. — А при вас, я вполне убеждён в этом, такого недосмотра,— ибо это явный недосмотр командующего отрядом,— быть не могло бы! Нет, нет! Если о какой-нибудь победе можно сказать: лучше бы ее не было совсем, этой победы, то именно о синопской!.. И всё это потому, что Нахимов... ой, может быть, и не плохой службист, но в морские стратеги не годится!

Этот разговор светлейшего с Корниловым показал начальнику штаба Черноморского флота не только всю глубину ямы, в которую он как бы свалился благодаря тому, что опоздал на час, на два, но также и то, как глубоко ненавистей князю Павел Степанович. Однако и он, отплывая от Графской пристани вместе с князем приветствовать благополучно, вопреки опасениям, при-

шедшую в свой порт эскадру, не предполагал, что князь втайне приготовил победителям такую жестокую, такую обидную встречу.

### 3

Обида, оскорбление,—это было чувство, общее всем на судах — адмиралам, офицерам, матросам,— только в первые часы смягчало его ожидание, что вот-вот подойдёт снова катер с приказом Меншикова снять карантинные флаги, раз не обнаружилось ни одного холерного ни между пленными, ни среди судовых команд.

Однако шли часы, наступал уже вечер, холерных не было, но приказа снять позорные флаги не приходило.

Как ни крепился Нахимов, как ни старался он подавать своим подчинённым пример «беспрекословного подчинения приказаниям высшего начальства»,— не выдержал и он, чтобы не прорваться в присутствии приглашённых им к себе адмиралов Новосильского и Панфилова и всех командиров судов.

Это было уже после вечерней зари, когда матросам полагалось спать, офицеры же имели право и бодрствовать, если хотели.

В городе весело горели огни, хотя на-глаз и не казалось, чтобы этих огней было больше, чем всегда; синопская победа не праздновалась и в городе, не отдавалось такого приказа светлейшим. Да и странно было бы праздновать победу в то время, когда виновники торжества сидели в карантине.

Нахимов засветло побывал на всех судах своей эскадры, поздравляя виновников ещё и другого торжества — торжества над бурным морем, не только над сотнями гурецких орудий, берего-

вых и морских. Раненые суда, как и раненые матросы в судовых госпиталях, очень волновали Павла Степановича теперь, когда он сидел в уют-компании «Константина» со всеми приглашенными на ужин.

— Бедному Майстренко с «Ростислава» выжгло взрывом оба глаза,— говорил он.— Страдает, мучается, хотя и терпит... Его бы теперь же в госпиталь на берег,— там у лекарей больше средств утихомирить боль, а вот на поди,— нельзя отправить на берег! Терпи, матрос!.. И сколько их там, на «Ростиславе»,— положительно вповалку лежат; однако и для них не сделал исключения князь!.. Признаться, не понимаю-с... Совершенно не в состоянии понять-с.. Матросы-то чем же оказались виноваты? За что на них наложили взыскание?.. А вы, Владимир Иванович, какого редкостного штурмана лишились,— обратился он к Истомину.— Какая потеря для всего флота — этот штабс-капитан Родионов!

— Он держится бодро, хотя, конечно, страдает,— отозвался Истомин.— Главное, что его мучает,— как жена его встретит, безрукого... И что замечательно,— говорит: руки по самое плечо нет, а чувствую всё время, что пальцы на этой самой руке очень болят, и их вроде как сводит судорогой...

— Чем же ему оторвало руку? — справился Панфилов.— Ядром или...

— Ядром... Мичман Ребиндер с верхней батареи кричал Родионову на ют: «Укажите направление батареи!..» За дымом с нижних деков Ребиндеру не было видно, куда стрелять, а береговая батарея лепила в нас ядро за ядром... Родионов Ребиндера всё-таки расслышал, и ему с юта было, конечно, гораздо виднее. но тут вдруг ядро попадает в катер, от катера шепки летят

прямо в лицо Родионову... Он левой рукой обтирал кровь с лица, а правую протянул, чтобы дать направление мичману, и вот тут-то как раз ядро и ударило в эту руку—оторвало прочь... Так что сначала рука Родионова упала на шканцы, а потом и он сам... Да, весёлый такой человек всегда был, что как-то даже не верится, что больше уж ему не придётся служить во флоте... И мичман всё тоскует: «Если б не я,—говорит,— со своим глупым вопросом, ничего бы такого не случилось!»

— Да, вот-с, ждёт жена и не знает, что случилось с мужем, ждут жёны матросов и тоже не знают,— и с той стороны и с этой напрасные только волнения, вот что-с,— сказал Нахимов.— И хотя бы князь приказал доставить нам лес для починки судов, однако же и этого нет... А что если неприятельский флот подойдёт к Севастополю, а? Как мы тогда? Ведь мы его в таком состоянии и встретить не можем, вот что-с! Вот это будет тогда позор так позор, когда нам придётся прятаться от противника за свои форты-с!

— Не в этом ли и заключена причина карантинных флагов? — спросил его Новосильский.— Есть такая украинская поговорка: «Круты, та не перекручуй!» Вот это мне так кажется, Павел Степанович, нам и хотел внушить князь: «Перекрутили, мол, шельмецы!..» Послалти, дескать, вашу свору только заполевать оленя, а вы его слопали совсем с требухой.

— Хорош олень! — засмеялся Панфилов, который хотя и не был сам участником боя, но по «Марии» мог судить о силе турецкого огня.

— Да ведь у князя об этом звере своё понятие, а в Петербурге он, может быть, кажется и совсем ручным,— объяснил Новосильский.

— Мы наказаны, это очевидно,— сказал Кут-



ров.—Карантинные флаги — просто дисциплинарная мера!

— Эскадра пришла и с приходу посажена под арест вся в целом,— уточнил его слова Кузнецов, а Микрюков дополнил:

— Особенный гнев князя вызвал, конечно, капитан Барановский тем, что переломил себе обе ноги мачтой!

— Да, вот, господа, потерял наш флот очень хорошего штаб-офицера! Жаль, весьма жаль! — покачал головой Нахимов.— Говорил мне Земан, что одну ногу придётся, пожалуй, отрезать; и куда же он тогда, бедный? Хотя бы смотрителем в какой-нибудь лазарет взяли.

— Земан говорит одно, а в нашем госпитале, на берегу, может быть, сказали бы и другое,— заметил Истомирин.— Ведь раны такого свойства не могут ждать, когда карантинные флаги прикажут снять с судов. Не снять ли с «Марии» Барановского этой ночью да не отправить ли его в госпиталь?

Нахимов отозвался на это не совсем определённо, однако для всех понятно:

— Князь, Владимир Иванович, не Осман-паша... С Османом мы сладили, а тут...—И он поиграл пальцами по столу и добавил: — На Османа князь даже и поглядеть не захотел, так боялся получить от него холеру... Но довольно всё-таки об этом... Что же, как говорится, всякому своё: кому сражаться с турками, кому с турецкой холерой. Но я не политик, господа, я моряк и в политике смыслю мало-с, да-с, очень мало-с... Ловуш-ка? — вдруг раздельно и несколько даже фальцетно выкрикнул он.— Кто это мне — кажется, Владимир Алексеич—сказал: «А что если это нам Англия ловушку поставила в Синопе, а мы в эту ловушку и втюхались с головой!..» А

совсем бы не надо?.. Погорячились? Дурака сваяли? Вот как-с? Дурака... А если бы нас побил, тогда бы мы оказались умники? Так, что ли-с?.. Однако князь поздравлял же с победой, пусть и не от чистого сердца... Поздравил и поспешно нас оставил, и—в карантин-с!.. Да, трудно, трудно тут что-нибудь понять-с, господа! Поэтому напрягать мозгов не будем напрасно, а приступим своими силами и средствами к ужину.

Нахимов, обращаясь к флагманам и командирам судов своего отряда с последними словами, старался показаться бодрым, боевым — именно боевым,—как будто предстоял всем третий бой, но уже не с турками, не с бурным морем, а с непосредственным начальством, противником, наименее постижимым и совершенно непобедимым, какую бы доблесть ни проявили командиры и команды.

И хотя по адресу Меншикова было сказано в этот вечер на «Константине» достаточно едких словечек, но всё-таки ничего не оставалось делать, как сойтись на мнении, что утро вечера мудренее, что утром на другой день, когда окончательно будет установлено, что ни одного случая холеры на судах, пришедших из Синопской бухты, не наблюдено, карантинные флаги будут, рззумеется, сняты, и победа будет отпразднована в Севастополе так звонко, как только можно.

А между тем по приказанию светлейшего эскадра-победительница была оцеплена кордоном мелких сторожевых судов, с которых должны были зорко следить, чтобы никто, даже сам Нахимов, не вздумал отправиться на катере на берег: нечего было и думать свезти в морской госпиталь ни капитана 2-го ранга Барановского, ни старшего штурмана Родионова, ни матроса

Антон Майстренко с выжженными парнями  
зами.

Холерные законы пришлось как нельзя более  
кстати, чтобы доказать победителям, что их, во-  
преки известной поговорке, судят.

4

Настало утро. Меншикову передано было, что  
«ни одного случая холеры на прибывших судах  
не обнаружено»; ждали, что придет ялик с од-  
ним из адъютантов князя и привезет распоряже-  
ние о снятии карантина, — однако ждали, как  
оказалось, напрасно.

Порядок же дня на судах начался обычный,  
будничный, введённый Нахимовым в своей пятой  
дивизии и принятый во всём Черноморском флоте.

До восьми утра матросы мыли своё бельё и  
койки. Потом, после завтрака, началось, как  
всегда, обучение рекрутов, хотя и сдавших уже  
свой боевой экзамен. «Что такое казенная часть  
орудия и что — дульная часть?.. Что такое  
«брюк» и к чему служит?.. Для чего банник?  
Для чего пыжовник? Как посылается ядро —  
прежде пыжа или после?.. Для чего комендор  
затыкает запал затычкой? Когда банят и какие  
от небрежения сей должности могут быть по-  
следствия?.. Для чего ведро при орудии? Для  
чего швабра?..» Эти и много других подобных  
вопросов задавались, и требовались точно за-  
ученные ответы.

Как ни велико было недоумение матросов, но  
они старались припоминать и не сбиваясь отве-  
чать, зная по опыту, что «от небрежения сей  
должности» могут быть последствия очень пло-  
хие.

В этом на судах кое-как прошло время до обе-

да. Нахимов ждал, что хотя бы в обед получится распоряжение князя, но берег, хотя и продолжал салютовать флагами, безмолвствовал относительно снятия карантина.

— Но ведь если нам и сегодня не дадут леса для починки подводных пробойн, «Мария» и «Три святителя» могут ночью затонуть на рейде! — возмущался Нахимов и приказал после обеда собрать всё дерево, какое ещё оставалось на судах, и заняться починкой того, что было расшатано штормом.

В стане победителей вместо празднования раздался рабочий стук и не прекращался до темноты.

— Ну, ещё ночку потерпим, а там — на берег! — говорили друг другу матросы и офицеры, укладываясь спать после этого трудового дня.

Утром доложено было Меншикову: «Ни одного случая холеры на прибывших из экспедиции судах обнаружено не было».

Меншиков не отозвался на это ни словом. Карантинные флаги продолжали красоваться на судах и в этот день: и так как дерево было уже истрачено до последней доски, оставалось только докучать матросам будничными вопросами: «Для чего бомбы? Для чего пустое ядро? Для чего брандскугель? Какое ядро далее хватает: пушечное, полупушечное или карронадное?.. Когда употребляется фитиль?..»

Чем дальше тянулось учение, тем больше темнели лица матросов. Следующий день был воскресенье. Ожидания всех устремились именно к этому дню: ради праздника, дескать, прикажут, наконец, снять ненавистные флаги. Увы! Праздник был в городе. праздник был на судах, не выходящих с рейда, но в нём отказано было и в этот день судам-победителям!

Нахимов приказал выдать матросам по чарке водки в обед. После обеда на судах играла музыка. пелись песни... Меншиков гримасничал, когда ему докладывали об этом, но запретить этого не нашёл возможным, как трудно было бы запретить яликам из города приближаться шагов на полтораста к судам.

Только на четвёртый день по прибытии судов в родную бухту получен был от светлейшего приказ снять карантин, и команды наконец-то получили возможность сойти на берег.

Но, сославшись на нездоровье, Меншиков не явился в морское собрание на чествование офицеров флота. Однако в окна собрания все могли видеть, как он из своего Екатерининского дворца, верхом, окруженный адъютантами тоже на конях, поехал куда-то за город.

Впрочем, это была не просто прогулка.

Вполне безошибочно, конечно, решив, что после разгрома турецкой эскадры в синопском бою западные державы непременно придут на помощь «больному человеку» и соединённый флот их появится в виду Севастополя. Меншиков на всякий случай отпустил из казенных средств ровно 200 рублей на устройство полевых укреплений на подступах к городу. Теперь он выехал определить на-глаз, как именно должны были итти эти укрепления по линии не мало не много как в семь вёрст.

Одному из его адъютантов показалась очень скаредной та сумма, какую он отпустил на оборонительные работы с суши, но светлейший ответил на это вполне убеждённо:

— Да ведь инженеры кто? Хапуги и воры. Отпусти им двести рублей или двести тысяч рублей — всё равно украдут. Так лучше уж пусть украдут только двести, чем двести тысяч.

Среди адъютантов князя не было одного только подполковника Сколкова: он был уже отправлен в Гатчину к императору Николаю с донесением Меншикова, как «очевидец» боя.

Уезжая, он сомневался в том, что вернётся в Севастополь полковником.

## ФЛОТ И КРЕПОСТЬ

(Р а с с к а з)

### 1

Вице-адмирал Ушаков твёрдыми шагами ходил по своей обширной каюте на флагманском линейном корабле «Св. Павел» и диктовал старшему флаг-офицеру Сорокину, капитану 2-го ранга, приказ по всей объединенной русско-турецкой эскадре, бывшей под его начальством при осаде французской крепости на греческом острове Корфу.

— Пиши,— говорил он,— так: «Объявляю по эскадре, мне вверенной, что генеральный штурм крепости назначается мною на восемнадцатое февраля...» На восемнадцатое февраля, да... Тут поставь точку... «Артиллерийские действия открыть... открыть... едва рассветёт, но с тем однако расчётом... дабы видны были всем цели... цели для орудийной стрельбы... дабы... дабы ни один снаряд не был пущен зря, на ветер... поскольку снарядов имеем в крайней степени мало...»

Приказ писался на толстой синей бумаге, тряпичной, весьма добротной; но гусиным пером, очень слабым при нажиме и поэтому делавшим кляксы, недоволен был крепыш Сорокин, человек лет сорока трёх. Он вытер его, воткнул в разрезанную сырую картофелину, посмотрел на кончик его на свет, падавший из люка, и сказал слегка приподнявшись:

— Перо починить надо, Фёдор Фёдорович.

— Эка, досада какая! Ну, чини, если надо!

Ушаков был уже в летах, — недавно перед тем ему исполнилось пятьдесят четыре года, но сколько его ни помнил Сорокин, он не замечал в нём никаких изменений.

Достаточно высокий, притом державшийся всегда прямо, с покатыми, но не узкими плечами, грузен он никогда не был, но и с тела не спадал; в привычках своих был непоколебимо твёрд: ежедневно брился, чего требовал от всех во флоте; перед обедом выпивал чарку анисовой водки, находя её полезной для здоровья; женщин на суда не допускал. Если же случалось, что со своими женами приходили, например, высокопоставленные особы, и это посещение нельзя было никак предотвратить по причинам дипломатическим, даже политическим, Ушаков сам после того обходил с кадиллом корабль и окуривал его ладаном.

Родившись в глуши Тамбовской губернии, в лесном Темниковском уезде, он подростком, ещё до поступления в морской кадетский корпус, хаживал на медведя с рогатиной. Семья была бедная, хотя и дворянская; никаких нежностей он не видел и в детстве, а корпус того времени был учебным заведением чрезвычайно суровым, да и научиться там многому было нельзя. Но Ушаков полюбил всей душой море, и море полюбило его, подарив ему много громких побед.

Однако и ему, морскому Суворову, никогда раньше не приходилось брать крепостей, а крепость на острове Корфу считалась неприступной.

Пять цитаделей её высились на огромных утесах с крутыми боками. Генуэзцы и венецианцы, искусные каменотёсы, несколько десятилетий



долбили там скалы, проводя в них подземные галлерей, устраивая казематы, рвы и валы. Шестьсот пятьдесят орудий размещено было на крепостных батареях, кроме больших береговых, охранявших крепость с моря.

Четыре с лишним столетия простояла эта крепость, заставив уважать своих строителей, и весь мир с недоумением и усмешкой следил, как русский вице-адмирал сначала блокировал её, потом приступил к осаде и вот теперь готовился взять её штурмом. Это казалось всем бессмысленной дерзостью, за которую будет жестоко наказана русская эскадра. Но за время блокады и осады было много дней, когда то же самое казалось и самому Ушакову.

Он привык, правда, побеждать с меньшими силами, чем у противника, иногда даже с меньшими вдвое, но морские сражения долгими не бывают; в них маневрирование судов, умение матросов быстро управляться с парусами и метко стрелять из орудий в несколько часов решали дело.

Здесь же, в Ионическом море, русский адмирал, командир турок и албанцев, осаждающий французов в венецианской крепости, устроенной на греческом острове, попал в очень сложную и трудную обстановку.

Венецианской корфинская крепость была ещё всего только полтора года назад, но Наполеон Бонапарт, генерал революционной Франции, начал уже тогда перекраивать карту Европы. Его победы над войсками такого сильного государства, каким была тогдашняя Австрия, заставили австрийского императора подписать в Кампо-Формио, в 1797 году, очень невыгодный для него мир, по которому отошла к Франции вся Ломбардия, а маленькая республика дожей, Ве-

неция, пришлась тогда просто Франции под межу. Она была поделена между ею и Австрией так, что за Францией остались Ионические острова и часть Далмации, населённая албанцами, а город Венеция и ближайший к ней кусок Далмации отошли к Австрии, чтобы несколько утешить её за потерю всей северной Италии, долгое время бывшей под её властью.

За три года до того завоёвана была французами Голландия и названа республикой Батавской; Ломбардия же получила название республики Цизальпинской. Но французы шли уже дальше в глубь Италии опрокидывать алтари и троны, и ошеломлённая Европа принялась деятельно их спасать, отзываясь на вопли Австрии.

Екатерина II умерла во время приготовлений к войне с Францией, но её сын и наследник Павел бурно выступил на помощь австрийскому императору, послав ему сухопутные войска с Суворовым во главе и Черноморский флот, предводимый Ушаковым.

Он писал своим полномочным министрам при дворах Вены и Берлина:

«Оставшиеся ещё вне заразы государства ничем столь сильнее не могут обуздать буйство сея нации, как оказательством тесной между ними связи и готовности один другого охранять честь, целость и независимость».

Балтийская эскадра была также послана им: в помощь Англии, а Турция сама приоткрыла перед черноморцами ворота Босфора и Дарданелл, так как была напугана экспедицией Наполеона в Египет, входивший тогда в состав Оттоманской Порты.

Так случилось, что совсем недавний враг России, султан Селим III, сам обратился в Пе-

гербург за помощью, и вице-адмирал Ушаков, победитель нескольких турецких капудан-пашей, один за другим выступавших против него на Чёрном море, сделался желанным гостем в Константинополе, а французский посланник был заключён в знаменитый Семибашенный замок, и даже дом французского посольства тогда разграбили и сожгли.

В эскадре Ушакова было шесть линейных кораблей и семь фрегатов. Этикет не позволял такой высокой особе, как султан, посетить обычным порядком русские суда, и Селим переоделся в платье простого боснийца и на шлюпке кружил около этих грозных кораблей, неоднократно громивших его флот.

Сам же Ушаков сделался почётнейшим гостем столицы султана. Ему охотно показывали доки и элинги, где чинились повреждённые им же суда и строились новые; его торжественно встречали всюду, где только ему хотелось побывать. «Во всех местах оказаны мне отличная учтивость и благоприютство, также и доверенность неограниченная», — доносил тогда он Павлу.

Для совместных действий против огромного французского флота под начальство Ушакова дано было султаном пятнадцать крупных судов под командой полного адмирала Кадыр-бея, но с тем, чтобы этот адмирал был в подчинении у вице-адмирала Ушакова и у него бы учился, как надо побеждать.

Турки называли Ушакова «Ушак-паша» и слушались его беспрекословно. Султан подарил Ушак-паше золотую табакерку с бриллиантами, а его матросам-черноморцам кучу червонцев, так как они должны были теперь защищать Константинополь от французов.

Приманчивы были Ионические острова для всех в Европе, кто имел достаточно силы. Семь больших: Корфу, Кефалония, Занте, Чериго, Паксос, Левкас и Итака, воспетая Гомером в «Одиссее», а также несколько мелких,—прекрасно были они расположены между Грецией и Италией, и очень нравились они Турции, лелеявшей тайную мысль их прикарманить.

Но о том же самом мечтала и Австрия, чтобы стать уже полной наследницей приказавшей долго жить республики дожей. В то же время и Англия, третья союзница России, отнюдь не хладнокровно смотрела на эти живописные острова. Английский адмирал Нельсон, незадолго перед тем разбивший французский флот при Абукире, против дельты Нила, теперь приступил к блокаде острова Мальты, мимоходом, по дороге в Египет, захваченного Наполеоном у рыцарей Мальтийского ордена. Он просто не успел предложить ионийским грекам покровительство британского флага: у него было много другого дела и мало возможностей раскидывать туда и сюда свои ограниченные силы.

С другой стороны, ионийцы были такие же православные христиане, как и русские, а мальтийские рыцари уже обратились за покровительством к Павлу и предложили ему титул «великого магистра» Мальтийского ордена, так что Павел облёкся в пышный пёстрый далматик великого магистра и непрочь был также оказать покровительство своим единоверцам на Корфу, Кефалонии, Итаке и других островах.

Таковы были сложные причины того, что Ушаков, во главе соединённой эскадры почти тридцати крупных судов, не считая мелких, с экипажем в шесть тысяч человек и с небольшим десантным отрядом, очутился к осени 1798 года

в Ионическом море и принялся очищать острова от французских гарнизонов.

Сначала всё шло успешно. Стояла прекрасная погода; на островах, кроме Корфу, гарнизоны были небольшие, защищались они слабо, и не прошло шести недель, как на них красовались уже русские и турецкие флаги. Но с Корфу так быстро справиться было нельзя, тем более что французы, как о том то и дело возникали слухи, готовились освободить занятые острова и снаряжали для этого большой флот в Тулоне.

Наступил декабрь. Всем известно, что такое зимняя кампания на суше, а зима на море, хотя и на таком южном, как Ионическое, была на этот раз особенно сурова. Частые бури трепали огромные корабли, как лодки; проливные дожди сменялись обильным снегом; а между тем сходить с судов на берег было нельзя, так как суда вели блокаду и всегда можно было ожидать нападения на них французской эскадры.

Однажды в тёмную ночь через кольцо блокады к крепости прорвалась бригантина и стала в гавани на якорь рядом с бывшими там военными судами: французским семидесятичетырехпушечным кораблём «Женерё», небольшим фрегатом «Ла Брюнь», бригом, бомбардой и десятком галер, а также и английским фрегатом «Леандром», нечаянно захваченным французами перед приходом сюда эскадры Ушакова.

«Леандр» был послан Нельсоном в Англию с донесением о победе при Абукире, но встречен в море гораздо более мощным кораблем «Женерё», уцелевшим от абукирского разгрома. Бой между «Леандром» и «Женерё» был жестокий, но большая убыль людей убитыми и ранеными заставила экипаж «Леандра» сдаться. «Женерё»

привёл фрегат на буксире в гавань крепости Корфу, и теперь они стояли борт о борт.

Велико же было изумление Ушакова, когда в одно утро он не увидел в гавани ни «Женерё», ни прорвавшейся сюда бригантины: они ушли, вычернив паруса.

Это был позор для блокирующей эскадры, но нужно было знать, в каких условиях протекала блокада.

Незадолго перед тем Ушаков послал донесение Павлу: «... Скоро от совершенного уже неимения провианта находиться будем в крайне бедственном состоянии, и чем пропитать людей, способов не нахожу... А притом люди в эскадре, мне вверенной, крайнюю нужду терпят, не имея платья и обуви, не получив оных за нынешний год, и как обмундировать их, средств не нахожу, потому что в здешнем краю ни мундирных материалов, ни обуви даже за весьма дорогую цену достать невозможно; да и на выдачу жалованья почти за целый год денег я ещё в наличии не имею».

Как же это случилось, что русские моряки были посланы удивлять подвигами Европу без провианта, без запасной обуви и одежды и даже без денег на жалованье? — Павел считал, что обо всём этом должен был позаботиться султан Селим III, раз он сам обратился за помощью. Но Порта всячески задерживала выдачу провианта и денег даже и для своей эскадры, тем более нечего было и ждать от неё этого экипажам русских судов.

Освобождённые от французов острова были богаты пшеницей, но торговые люди на них просили за эту пшеницу небывалые цены. Для пошивки обуви матросам пришлось покупать кожи и устраивать на судах сапожные мастер-

ские, а матросские куртки выкраивать из греческих капотов.

Снарядов для орудий тоже было в обрез, и Ушаков приказывал во время осады всячески беречь их для решительной атаки.

Что же было в таком случае у прославленного русского адмирала?—Только свои матросы и солдаты небольшого, в пятьсот человек, десантного отряда, привезённого из Севастополя. О них писал Ушаков впоследствии так:

«Наши люди от ревности своей и желая угодить мне, оказывали на батареях необыкновенную деятельность: они работали в дождь, в мокроту, в слякоть, или же обмороженные, или в грязи, но всё терпеливо сносили и с великой ревностью старались».

## 2

Приказ о штурме был передан по всем русским и турецким судам объединённой эскадры под великим секретом.

Он был немногословен, этот приказ, так как всё, что нужно было сделать для штурма, было уже сделано: костёр был сложен,—оставалось только выбить в него искру, чтобы он вспыхнул.

Корфинская крепость была сильна не только сама по себе: все подступы к ней как с моря, так и суши были укреплены тщательно.

С моря — весь берег и острова вдоль берега ошетинились батареями, а самый большой из островов — Видо — имел даже и свой гарнизон в пятьсот человек. Всюду вдоль берега в каменистое дно моря были вбиты мачты, соединённые железными цепями для того, чтобы воспрепятствовать высадке десанта. Десятилетиями

трудились тут люди, чтобы выдержать любую осаду, но всего только четыре месяца прошло с тех пор, как появился в виду крепости русско-турецкий флот, и Ушаков уже отважился на приступ твердыни, которую никто не мог взять в течение нескольких столетий.

Конечно, нужна была ему большая уверенность в своих силах, чтобы не осрамить ни свой русский флаг, ни доверенный ему флаг турецкий, ни честь России и Турции, ни свою личную честь. Приходилось ещё и спешить со штурмом, так как французы готовились, по слухам, идти из Анконы на выручку гарнизона Корфу с десантным отрядом от трёх до десяти тысяч человек, между тем как вполне достаточных и надёжных войск для штурма Ушаков не имел.

Он писал об этом и в донесении Павлу:

«Если бы я имел один только полк русского сухопутного войска, непременно бы надеялся я Корфу взять, совокупясь вместе с жителями, которые одной только милости просят, чтобы ничьих войск, кроме наших, к этому не допускать».

Добровольцев из греков на острове почему-то становилось всё меньше и меньше, вооружение их — всё хуже... И только когда один из подвластных султану пашей, имевший своё войско, прислал по приказу Селима четыре тысячи албанцев, Ушаков почувствовал почву под ногами.

Батареи судовых орудий были уже установлены на острове и действовали по крепости: оставалось только под прикрытием огня с кораблей и фрегатов высадить достаточной силы десант, чтобы захватить сначала форпост крепости — остров Видо, а потом и самую крепость.

Всё необходимое для штурма было наготове



Свыше ста сигналов флагами было придумано Ушаковым, чтобы передавать с флагманского корабля приказание и всем судам в море и десантным отрядам на берегу в день штурма.

Но он готовился не только руководить боем; ни одно сражение из всех, им данных, не обходилось без его личного участия в нём, и корабль «Св. Павел» обычно брал на себя труднейшую задачу. Это был уже несколько старый корабль, который и строился в Херсоне, — ещё при Потёмкине, — под наблюдением самого Ушакова и поступил потом под его команду, так как был он тогда уже капитаном 1-го ранга.

Другие корабли, спущенные в воду с херсонской верфи, в том же 1784 году, частью были разбиты и потоплены, частью были приведены в ветхость проволочным червём, в изобилии водившимся в севастопольских бухтах; но свой шестидесятишестипушечный корабль Ушаков раньше, чем другие суда, спас от червя, обив его подводную часть медными листами.

•Суровый с виду, Ушаков трогательно любил это своё создание.

Корабли при Потёмкине строились в самом спешном порядке из леса, которому не давали просохнуть, по старым чертежам, заранее обрекавшим их на тихоходность, и Ушаков, хорошо сведущий в деле постройки судов, сам просиживал долгие дни над чертежами, сознательно оттягивал срок выпуска корабля, чтобы дать возможность просушить для него доски.

В каждую мелочь при этой постройке вникал он, зато и корабль вышел и наиболее ходким и наиболее способным к маневрированию, не говоря уж о том, что на нём была лучшая во флоте команда.

«Св. Павел» вышел показной корабль. На нём

любил бывать Потёмкин, когда приезжал из Херсона в Севастополь; им же в первую голову шеголял он, когда принимал в Крыму Екатерину.

Тогда «Северной Семирамиде» вздумалось беседовать не только с самим Ушаковым, но и с одним из матросов его корабля — Филатом Хоботьевым. Она была тогда довольна всем, что видела: и только что завоёванным Крымом, и только что построенным флотом, и голубым морем, и солнечным ласковым днём, и больше всего собою лично, преодолевшей долгий древний путь «из Варяг в Греки», по Днепру, мимо Киева. Блистательно улыбаясь, как крымское солнце, обратилась она к Хоботьеву:

— Что, матрос, не ждали, должно быть, меня здесь в Крыму, а я вот приехала на вас, матросов, посмотреть!

Богатырски сложенному Хоботьеву нужно было что-то ответить, раз обратилась милостиво к нему сама императрица, рядом с которой высился, как матёрый дуб, одноглазый Потёмкин и позади которой стояла такая огромная, такая раззолоченная свита... Толстая бычья шея Хоботьева от необычной работы мысли налилась кровью, он выкатил глаза, перебрал сухими губами и выглядел на весь корабль:

— От эфтакрой царицы всего можно дожидаться, ваше величество.

Всех в недоумение поставил этот матросский ответ, и прежде всех самое императрицу. Она обратилась по-французски к Потёмкину, — счастье ли за комплимент такие слова, и тот ответил ей по-русски:

— Разумеется, матушка царица, это — комплимент. — и даже комплиментяще, притом же от чистого сердца!

После этого разъяснения светлейшего князя Тавриды Екатерина, улыбувшись, царемонно наклонила голову в сторону Филата Хоботьева и пошла дальше, и все, кто был в её свите, сочли своим долгом милостиво поглядеть на столь речвстого и столь ловкого комплиментчика и улыбнуться благосклонно, следуя дальше.

Теперь Хоботьев был боцманом корабля. Для него, как и для самого Ушакова, «Св. Павел» стал родным домом.

В том же 1787 году, когда приезжала в Крым Екатерина, турки начали новую войну за тот же Крым и за все вообще берега Чёрного моря, отвоёванные Росоией. Русский посол Булгаков был посажен немедленно в Семибашенный замок, а турецкий флот появился в Чёрном море.

Энергичный приказ пришёл тогда из Херсона в Севастополь от Потёмкина графу Войновичу, контр-адмиралу, командовавшему флотом.

«Подтверждаю вам собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дела, ожидаемые от храбрости и мужества вашего и подчинённых ваших. Хотя б всем погибнуть, но должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля. Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы ни стало, хотя б всем пропасть».

Флот тогда действительно едва не пропал весь, но не от турок, а от сильнейшего шторма. Его раскидало у берегов Болгарии так, что один корабль утонул со всей командой, другой шесть суток носило по морю, пока не загнало, наконец, в Босфор, как подарок аллаха; только распорядительность Ушакова и усилия послушных ему матросов, таких, как Хоботьев, особенно тогда отличившегося, спасли корабль. От этого и командиру и команде он сделался ещё дороже.

как становится дороже матери ребёнок, которого она неусыпными заботами спасёт от смертельной болезни.

Ушаков во всех боях неизменно применял одну тактику: «Св Павел» с самого начала шёл на сближение с адмиральским кораблём противника и осыпал его таким частым и таким метким градом снарядов, что очень быстро выводил из строя и обращал в бегство: а победитель тут же переводил весь свой огонь на следующий сильнейший корабль и долбил его, пока он не поворачивал следом за адмиральским.

Испрашивая награды для команд судов своего отряда, Ушаков однажды писал: «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей: они стреляли в неприятельский корабль с такою сноровкой, что казалось, что каждый учится стрелять по цели. Прошу наградить команду, ибо всякая их ко мне доверенность совершает мои успехи. Равно и в прошедшую кампанию одна только их ко мне доверенность спасла мой корабль от потопы, когда штормом носило его по морю»

Командир удивлялся проворству и храбрости своих команд, команды удивлялись проворству и храбрости своего командира, и 18 февраля 1799 года им, приходившим в удивление друг от друга, предстояло взять крепость, неприступности которой несколько столетий удивлялся весь мир.

### 3

В корфинской крепости известно было всё, что делалось на кораблях эскадры, на острове Корфу и на других островах.

Когда узнали там, что вполне благополучно

прорвали блокаду и были вне опасности от погони «Женерé» и лихая бригантина, экспансивные французы, высыпав наружу из укреплений, так громко аплодировали их успеху и так вызывающе кричали «браво», что Ушаков только залпами из орудий нескольких кораблей перекрыл их радость.

Гарнизон крепости всем был снабжён в избытке, и если там, на крутобоких голых скалах, не было колодцев, то были объёмистые, высеченные в камне, цистерны для хранения дождевой воды, в которой теперь, зимою, не было и не могло быть недостатка.

Командовал трехтысячным гарнизоном генерал Шабо, один из многих талантливых людей, выдвинутых французской революцией. Он не опасался за крепость и раньше, когда же удался побег «Женерé» и бригантины, он перестал сомневаться и в том, что русский адмирал не в состоянии штурмовать крепость: если силы блокирующего так слабы, что позволяли дважды прорвать блокаду; если он, осаждающий, терпит гораздо большие лишения, чем осаждённый; если, наконец, из Тулона, куда должен был в скором времени прибыть «Женерé», пришлют достаточной силы флот, о чём просил Шабо, то откуда же и было взяться сомнению в своей несокрушимости?

В тех прокламациях, которые очень часто сочинял красноречивый Шабо для корфидтов, он не скупился на мрачные краски, когда изображал, что с ними сделает Ушаков, если они неразумно вздумают помочь ему победить французов. Он рисовал дело так, что корфидты, как и все греки других островов, будут переланы тогда в полную власть туркам, а турки их начисто ограбят и вырежут.

Прокламации читались и горячо обсуждались в городе и в окрестных селениях; число желающих сражаться с французами становилось всё меньше, отношения их к Ушакову всё подозрительней.

Идеи свободы, равенства и братства уже успели проникнуть к ним и взволновать тихую воду жизни ионийцев, но они были потомки тех, которые ещё на заре истории человечества испробовали все формы правления.

На Корфу, как и на других островах, шла в это время если и не слишком жестокая, всё же вполне заметная борьба за жизненные блага, и богатые и знатные среди островитян не ложились спать, не имея оружия под руками и надёжной охраны около своих домов.

Однажды к Ушакову на корабль была допущена депутация от корфиотов, — около двух десятков человек. Это были люди скорее бедные, чем среднего достатка. Лица их были суровы, одежда только пыталась казаться праздничной, так как надета была для исключительного момента. Но всё же они были чрезвычайно живописны, эти корфиоты.

С обветренными солёными морскими ветрами лицами, с орлиными носами, воинственно усадые, в круглых, низких суконных шапочках с красными и синими кистями, в коричневых и синих, расшитых во всех направлениях шнурками курточках, коротких, похожих на жилеты, и в широких шалевых коричневых или цветных кушаках, за которыми заткнуты были пистолеты, и ятаганы, и сабли, — у каждого свой арсенал, — они поднялись со своей шлюпки по трапу на палубу, где и выстроились было по-солдатски, но Ушаков пригласил их в свою кают-компанию и приказал подать каждому чашку кофе, так как

понял, что они явились для серьёзного разговора.

Ушаков не знал ни одного иностранного языка, и разговор, который действительно был серьезным, вёл через переводчиков.

Греки заранее из своих выбрали старика, который мог бы говорить с русским адмиралом, и тот, после нескольких приличных случаю фраз, сказал, осторожно выбирая слова:

— Мы — люди тёмные, мы мало знаем, что такое Россия... Мы знаем,—это большая, очень, очень большая страна... Там много людей, — очень много... Поэтому там император! (Тут он поднял палец в знак почтения, помолчал и продолжал.) Там, в России, нельзя без императора, но острова наши—малы, и нас, греков, на островах не так много, как русских в России.. Нас всего едва-едва двести тысяч... Для нас здесь им-пе-ра-тор — это большая нам честь, — мы не стоим... И если даже король,—мы тоже не стоим... И если князь даже,—всё равно не стоим.

Все греки-депутаты согласно качнули при этих словах старика головами и пытливо повернули их к русскому адмиралу.

Ушаков понял, о чём беспокоятся эти люди, и сказал твёрдо:

— У вас я думаю устроить республику.

— Так!— тут же отозвался старик.

— Так! Республику!— радостно поддержали остальные.

Только после этого выпили они по глотку кофе, но старик всё-таки не дотронулся до своей чашки; он спросил Ушакова:

— В республиках бывают и те, кто приказывает, и те, кто только слушает и исполняет; как будет у нас? Кого назначите вы начальниками?

— Это уж кого вы выберете сами, те и будут ваши начальники,— ответил Ушаков.

Греки переглянулись и выпили ещё по два глотка кофе; старик тоже опустил в свою чашку седые усы.

Но, подняв голову, он сказал, будто думал вслух:

— Кто будет выбран в начальники, если даже и начнёт выбирать их наш народ? Только те, у кого много виноградников, много оливковых деревьев, много пшеничных полей... Те, у кого лодки и сети, но кто не ловит рыбы сам, а только смотрит, как её ловят и солят в чанах их рабочие... Те, у кого много денег, — вот кто!

— Я сам напишу для точного исполнения, как нужно будет выбрать вам начальников в Большой совет, на Корфу, и в малые советы, на других островах,—сказал Ушаков.—И я сам буду приводить к присяге выборщиков, чтобы выбирали они людей, только достойных быть начальниками, людей — честных и неподкупных, а не взирали бы на то, сколько у них масла и вина, и рыбы в бочках!

Очень решительно и строго было сказано это русским адмиралом, и теперь уже все греки-депутаты, также и старик, радостно закивали головами, все сказали:

— Так, так, так, господин адмирал!— и все выпили до дна свой кофе.

Корфиоты должны были действовать при штурме со стороны города, на который тоже глядели из крепости жерла пушек нескольких батарей. Но к городу не подводили на помощь им албанцев, которых высадили пока на дальнем берегу Корфу и даже на соседнем острове — Занте; а десантный отряд из русских солдат и матросов, как наиболее надёжных, а также



турок, которым Кадыр-бей обещал выдать по два пиастра за каждого убитого им француза, должен был штурмовать крепость в лоб, с моря, что являлось делом гораздо более трудным.

Что касалось обещания Кадыр-бея платить пиастры своим солдатам в награду за их подвиги, то Ушаков хотел было отменить это, но турецкий адмирал, внешне к нему почтительный и называвший его не иначе, как «друг Ушак-паша», прикладывая руку к сердцу, всячески доказывал, что у них, в Турции, «бакшиш» — взятка — всё. Как без хорошего «бакшиша» нельзя было получить во флоте должности командира корабля, причём «бакшиш» давался самому капудану-паше; как на копабле должности старшего или младшего офицера нельзя было получить без приличного «бакшиша» командиру корабля, так и от простого матроса или солдата-турка нельзя было дожидаться подвига, не пообещав ему за это тоже «бакшиш», хотя бы и в два пиастра, то есть в сорок копеек.

#### 4

Была ночь, и настало утро 18 февраля.

Судовые священники отслужили молебен о даровании победы ещё затемно, хотя суда с вечера заняли по разбросанным в море буйкам те места, какие Ушаков назначил им занять для боя с батареями крепости, и всё на судах было готово к бою.

Солнце в феврале встаёт поздно даже и на юге Европы. Ушаков опасался, не пошёл бы дождь, но было только влажно, и с моря на берег тянул несильный ветер.

Светлело медленно. На-глаз заметны были

усилия мачт и парусов выступить хоть чуть-чуть, хоть туманно из темноты, а берег прятался ещё дальше, чем накануне, чем три, пять, десять дней назад... Для матросов, стоявших у орудий, очень долго тянулись минуты. На корабле «Св. Павел» боцман Хоботьев держал руку на своём свистке, дожидаясь командирской команды открывать огонь.

Ушаков стоял на юте рядом с командиром корабля и вглядывался в чернеющий берег. По его плану корфиоты и албанцы должны были придвинуться к крепости, пользуясь темнотой ночи. Контр-адмирал Пустошкин, товарищ его по морскому корпусу, должен был с отрядом в несколько судов захватить о. Видо. С Пустошкиным он подробно обсуждал, как это нужно было сделать; на него он надеялся.

Эскадру Кадыр-бея он поставил уже с вечера для обстрела крепости с левого и правого фланга, почему и разделил её на два отряда. За высадкой десанта турецких солдат должен был наблюдать сам Кадыр-бей.

Труднейшую задачу Ушаков взял на себя, — атаку крепости с фронта, — борьбу с самой мощной из всех крепостных батарей. Орудия этой батареи зловеще глядели днём в амбразуры казематов центральной, наиболее обширной, цитадели. Теперь пока не различалась ещё ни одна цитадель.

Ожидая, что из крепости будут палить по судам калёными ядрами, чтобы вызвать пожары, Ушаков приказал расставить на палубах бочки с водой и вёдра; для того же, чтобы меньше нести потери в рангоуте и такелаже, то есть в надпалубном дереве и парусах, было приказано ещё с вечера, став на указанных местах на якорь, свернуть паруса.

Нужно было держать прочно в памяти не только всё, что относилось к расположению судов в море и батарей, укрепившихся уже на берегу; всё, что должны были сделать отряды корфиотов и албанцев там, на острове, в тылу крепости; всё, откуда и как должны были выбраться на берег десантные отряды — свои и турецкие, — но ещё и сотню с лишним сигналов флагами, которые он же, Ушаков, и придумал и которые должны быть отчётливо поняты командирами судов и отрядов, чтобы не было путаницы в исполнении приказаний.

При всём этом Ушаков хорошо знал и помнил и то, что одна пушка на берегу стоила целого корабля в море: слишком часто бывало в истории войн, как от морских крепостей, не принеся им заметного вреда, уходили поспешно эскадры с разбитыми мачтами, стеньгами и реями, с разорванными парусами, с обгоревшими палубами и пробитыми здесь и там бортами. Ушаков много раз слышал, что именно такого конца его осады Корфу и ожидала Европа...

Вот чуть заметно засинел берег... Вот сплывала стала гуще... Вот заколыхались вверху ещё неясные очертания цитаделей...

— Готовься! — скомандовал Ушаков.

— Готовьсь! — повторил командир корабля, обернувшись к старшему офицеру.

— Товьсь! — передал команду на палубу старший офицер.

Боцман Хоботьев взялся губами за свисток, и орудийные расчёты замерли около своих пушек правого борта.

Терпеливым рыболовам, сидящим с удочками по берегам рек, известно, что самый удачный лов бывает на ранней заре, когда голодна рыба, когда она жадно бросается на наживу, но не видит

предательских крючков и лес. Все расчёты свои Ушаков строил на том, что ранним утром с судов можно будет удачно стрелять по гордо раскинутой в высоте крепости, в то время как из крепости в первые десять—двадцать минут не разглядят вниз, в широком мгlistом море, где и какие атакующие суда, тем более, что для атаки они были расставлены ночью в новом порядке.

Каждое судно заранее знало свою цель; огонь его орудий собранный и должен был стать сокрушительно метким. Огонь же крепостных пушек поневоле должен был рассеянным вначале, пока не ушла ещё с моря предрассветная мгла. Но рассеянным он должен был остаться и потом, так как атака готовилась повсюду — и с моря и с суши, а двадцать восемь больших судов имели орудий одного борта всё-таки значительно больше, чем было их в крепости, всё преимущество которой состояло только в том, что камень казематов её цитаделей не горел, а пробоины в нём от ядер были неглубоки и не заполнялись водою.

Грянул первый залп с флагманского корабля, и тут же загремело всё море. Жёлтые вспышки выстрелов заволакивало тут же белым дымом. Этот дым был настолько плотен и так высоко поднимался, что совершенно скрывал корабли. Он мешал бы и точной стрельбе по крепости, если бы это была не неподвижная и уж давно пристрелянная цель и если бы утренний ветер не относил в сторону дымовых клубов и полотнищ.

На грот-марсе и грот-салинге «Св. Павла» сидели надёжные матросы и поднимали флаги по приказам Ушакова, но уже в конце первого часа канонады, когда совершенно рассвело, стало

ясно, что всё идет так, как ожидалось; самая мощная батарея, против которой действовал флагманский корабль, была сбита, несмотря на то, что она не поскупилась на калёные ядра и что не меньше десяти пожаров начинались на «Св. Павле»,— они тут же тушились матросами.

Отчаянно защищался о. Видо,—там был лихой гарнизон и хорошо укрыты орудия. Суда Пустошкина залп за залпом долбили чугуном камень, как кирками. Иногда на них вспыхивало пламя, так же как на «Св. Павле», но Ушаков был спокоен за своих матросов: они умели бороться с огнём, как и с водою в штормы.

Как действовали турки в бою, было ему хорошо известно на опыте в Чёрном море; но зато им и даны были фланги, где могли быть полезны и турки, лишь бы они выдержали бой с крепостью до конца и не повернули в открытое море.

Прошло два, прошло три часа жестокой канонады; Ушаков приказал сигнализировать благодарность Кадыр-бею: он на деле показывал, что исполняет приказ султана учиться у русского вице-адмирала науке побеждать.

Калёных ядер у гарнизона крепости хватило только на первый час борьбы,—дальше лишь сбивались стены и рей, и матросы в трюмах, действуя острыми топорами и паклей, спешно заделывали подводные пробоины в бортах.

К полудню Ушаков заметил, что огонь крепости ослабел. Оказалось ли много там подбитых орудий, или не доставало уже снарядов, но даже и турки стреляли теперь далеко не так вяло, как французы... Ушаков снял фуражку, перекрестился и приказал поднять сигнал Пустошкину и Кадыр-бею, чтобы начали сходить на берег десанты.

Ветер, тянувший с моря на берег поутру, утих с восходом солнца, и пушечный дым стлался над морем вблизи судов, укрывая катеры с десантом. Не помогли ни железные цепи, прикрепленные к мачтам, ни мачты, вколотые в расщелины каменного дна, ни стрелки гарнизона, пытавшиеся ружейными залпами опустошить катеры.

Корабли на ружейные залпы отвечали залпами орудий, а катеры находили места, удобные для причала, так как достаточно уже мачт и цепей было перебито во время утренней канонады.

Даже туркам удалась высадка, а появление их на берегу давало знать албанцам и корфиотам, что настало и для них время итти на приступ. Загудели албанские волынки, затрещали глухо, но внушительно турецкие барабаны, а русские горнисты истоиво выводили на своих медных рожках:

В ко-люн-ю  
 Соберись бегом!  
 Тре-зво-ну  
 Зададим штыком!  
 Скорей, скорей, ско-ре-е-ей!

И только корфиоты, старательно таща штурмовые лестницы, приближались к своей крепости без всяких воинственных мелодий: ни многочисленные албанцы, присланные турецким пашой, ни тем более турки доверия им не внушали.

Штурмовые лестницы разной величины ташили, конечно, не одни греки: они были во всех отрядах, но только русские матросы и солдаты старательно работали над ними, чтобы вышли они нужной длины и прочности.

Однако, чтобы приставить эти лестницы к крепостным стенам, надо было преодолеть множе-

ство препятствий, придуманных опытными инженерами на протяжении веков. Тут скалы громоздились на скалы, а рвы уходили в пропасть; здесь каждый метр пространства обстреливался со всех сторон; здесь всё было рассчитано на то, чтобы противник, если только он вздумал бы отважиться на штурм, понёс бы огромнейшие потери и отступил с позором.

Ушаков это знал. Он отчётливо сознавал и то, что французы, уже овеянные мировой славой непобедимости, будут защищаться, как черти.

— Ну, что, Хоботьев, — как? — спросил он боцмана, ища на палубе места, откуда лучше всего был бы виден о. Видо.

Вопрос был совершенно неопределённый, но боцман понял своего адмирала.

— Должны взять, ваше превосходительство! — уверенно ответил он.

— Должны-то должны, да ведь народ-то сборный, — сказал Ушаков, глядя на остров.

— Не иначе, как должны взять! — ещё уверенней отозвался боцман.

— Что должны, — о том нету спору, ежовая голова! — с лёгкой досадой уж глянул на него Ушаков.

Казалось бы, «речистый» боцман должен был замолчать после этого, но столь велика была его уверенность, что она так и просилась в убедительные слова.

— Обя-за-тельно должны взять, ваше превосходительство! — понизив голос, твёрдо сказал он, сам весь каменный, как та же крепость.

Ушаков хотел было обругать его попугаем, но услышал вдруг со стороны Видо грохочущее «ура» и застыл на месте.

— Лезут! — сказал около Ушакова командир корабля.

— Лезут! — повторил старший флаг-офицер Сорокин.

Действительно, лезли на скалы солдаты, взятые с русских равнин, где о скалах никто не слышал. Частым огнём в них стреляли французы, однако стреляли и они, — взвивались то здесь, то там белые пухлые дымки снизу.

Как только высадился весь десант и начался штурм, замолчали батареи судов Пустошкина, чтобы не перебить своих. Однако Ушакову видно было, что гарнизон Видо едва ли не многочисленнее, чем десант, так отважно идущий задать трезвону штыком, а между тем с того места, где стоял «Св. Павел», была возможность дать по французам два-три залпа так, чтобы рассеять их резервы и не задеть своих солдат.

Раздалась команда его, а следом за нею залп и тут же другой... В третьем не было уже нужды. Французов смело, как девятым валом, и не больше как через четверть часа зоркий марсовый матрос прокричал, что он видит на гребне острова русский флаг.

Обернувшись назад, искал глазами и нашёл Ушаков боцмана. Он сиял, как медный самовар, начищенный толчёным кирпичом.

— Молодец, Хоботьев! — крикнул ему Ушаков.

— Рад стараться! — выкрикнул боцман, выпятив четырёхугольный подбородок.

Ни «Леандр», ни «Ла Брюнь», ни тем более бомбарда и галеры не могли отважиться выйти из бухты. Их разоружили для защиты крепости, и экипажи французских судов были теперь там, около своих орудий, на скалах.

Однако сколько осталось в крепости гарнизона и годных в дело орудий после нескольких часов жестокой канонады? — Об этом хотел бы-



ло спросить своего Сорокина Ушаков, но не спросил, сказал только как будто и с горечью, но в то же время и с уверенностью в успехе:

— Ну, что ж, я ведь не Суворов и в самом-то деле, чтобы с одного штурма подобные крепости брать!.. Отобьют штурм нынче,— завтра ещё раз попробуем. А пока что — скажи, чтобы подняли сигнал: «Благодарю контр-адмирала Пустошкина!»

Не отбил штурма гарнизон крепости так же, как и острова Видо.

Дружный огонь судовых орудий, испытанная меткость русских матросов-артиллеристов, зря растроченные крепостью в начале боя, в полумраке, калёные ядра — дали превосходство флоту над крепостью и обессилили гарнизон.

С моря не видно было, как идёт штурм крепостных цитаделей, но разноязычные сборные команды с русскими морскими офицерами впереди шли неотступно следом за ротами русских солдат и матросов.

Французы защищались умело и храбро. Истратив патроны в залпах и беглом огне, они первыми переходили к штыку. На лестницы, приставленные к стенам, они обрушивали сверху огромные камни, ломая ими и лестницы и кости штурмующих. Отступая, они заманивали целые толпы в искусно замаскированные сверху волчьи ямы...

Но странно.— всё это только распаляло атакующих, лезших напролом.

Турки шли на штурм с большими мешками. Кривыми ятаганами отрезали они головы убитых ими или другими французов и поспешно совали в мешки: ведь не за что другое, как только за головы, должны были им платить в штабе Кадыр-бея по два пиастра.

Генерал Шабо с ужасом наблюдал из главной

цитадели, как всё ближе и ближе подбирались штурмующие, наконец сам вместе со своими адъютантами вывесил сквозь одну из амбразур в виду флагманского корабля русско-турецкой эскадры длинный белый флаг: две связанных наспех простыни со своей постели.

Это было в два часа дня.

Ушаков приказал выставить сигнал отбоя, и тут же везде на судах затрубили горнисты. Крепость расцветилась флагами победителей-союзников. Бой умолк.

## 6

Шабо сдался на милость Ушакова без всяких условий: из всего гарнизона, бывшего под его начальством, осталось только до тысячи трёхсот человек. Около сданного ими оружия стали одни часовые, около них самих другие. С большим любопытством смотрели французы на русских солдат и матросов, приплывших из далёкой, совершенно неведомой им страны, чтобы победить их в прославленной крепости.

Свою саблю генерал Шабо снял и отдал старшему из офицеров русского десантного отряда, говоря при этом, что хотел бы лично передать её Ушакову, о котором слышал так много раньше, чем познакомился с ним сам так хорошо теперь.

Он был очень взволнован, он слишком тяжело переживал своё поражение; он нетерпеливо ожидал своего победителя, обеспокоенный участью не только своей, но и своих солдат и офицеров.

Пристав к берегу, Ушаков внимательно разглядывал вблизи то, что приковало на несколько месяцев его эскадру, — крепость, устроенную так

искусно на крепости, возведённой самой природой. Несколько раз пожимая плечами, обращаясь он к сопровождавшему его Сорокину:

— Я удивляюсь! Я положительно удивляюсь, как можно было одним штурмом взять такую твердыню!..

И качал сокрушённо влево и вправо головой при виде множества тел убитых на валах, во рвах, около стен: морские сражения не приучили его к таким зрелищам.

Вид обезглавленных тел французских офицеров и солдат возмущал его до крайности.

Он вспомнил, как алжирский паша Саид-Али, известный своей исключительной удачливостью в морских боях, поклялся султану Селиму, что привезёт ему голову Ушак-паши, и действительно во время сражения на Чёрном море всего лет восемь назад рвался на сближение с русским флагманским кораблём, которым был тот же «Св. Павел». Однако от метких выстрелов русских комендоров полетели в воду бордажные лестницы, и реи, и обломки раззолоченной кормы адмиральского корабля, а он сам, Ушаков, кричал тогда, грозя кулаком: «Я тебе покажу, бездельник Саид, как давать такие клятвы султану!..» Не прошло и полчаса, как избитый корабль Саида ушёл под защиту других судов огромного турецкого флота, а спустя четыре часа под защиту ночной темноты ушёл и весь способный ещё итти неприятельский флот.

Ушаков понял ужас в побелевших глазах генерала Шабо, который дрожавшими руками передавал ему только что полученную обратню для этой цели свою саблю.

— Я прошу оказать милосердие мне и моим людям, господин адмирал! — умоляюще сказал Шабо.

Говоривший по-французски Сорокин перевёл его слова Ушакову.

— Прошу вас принять вашу саблю обратно,— сказал Ушаков.— Вы и ваши люди вели себя геройски.

Слёзы показались на глазах Шабо, когда он услышал от Сорокина сказанное адмиралом и принимал свою саблю. Но он спросил ещё:

— Куда же теперь,— в Россию отправите вы, господин адмирал, меня, моих офицеров и солдат?

Ответ на этот вопрос был уже заранее приготовлен Ушаковым, и потому он сказал твёрдо:

— Нет, не в Россию... Если вы лично и каждый из ваших солдат и офицеров дадите мне честное слово и подписку, что полтора только года не будете служить в рядах своих войск против России, Англии, Турции и их союзников, то вы все будете отправлены во Францию на наших же судах.

Это великодушное победителя так потрясло генерала Шабо, что он, слишком много переживший с раннего утра, зарыдал и бросился на грудь Ушакова.

Но в это время поднимался уже к главной цитадели и Кадыр-бей со свитой десятка в два своих морских офицеров, и тут, у цитадели, когда Ушаков уходил от Шабо, они встретились и поздравили друг друга с победой.

Тут же кивнув на массу пленных французов, расположившихся у стен под конвоем русских солдат и матросов, турок, албанцев и корфиотов, весело блеснув маслянистыми чёрными глазами и проведя пальцем по своей шее, шепнул Кадыр-бей Ушакову:

— Головы им всем будем резать долой, а, друг Ушак-паша, а?

— Только попробуй, — сурово ответил Ушаков, — тогда уж не назовёшь меня своим другом!

— Почему так?

Кадыр-бей не столько был обижен этим, сколько вполне искренно удивлён. Он думал даже, не пошутил ли Ушак-паша. Однако Ушаков тут же распорядился заменить всех конвойных турок, а также и других, русскими матросами, приказав им следить не столько за тем, чтобы не разбежались пленные, которым и некуда было здесь бежать, сколько за тем, чтобы они остались живы.

Из шестисот пятидесяти крепостных орудий, в большинстве подбитых, свыше четырёхсот оказалось медных и, между прочим, все мортиры и гаубицы.

Стараясь казаться опечаленным, Кадыр-бей говорил Ушакову:

— Друг, мой начальник! Я тебе уступлю пленных французов, — так и быть, я — добрый. Ты захотел взять их всех себе, — что же, возьми, корми этих собак, я могу тебе сделать такой подарок... Но за это все медные пушки ты отдашь мне, — так я говорю, а?

— Нет, не так, друг Кадыр-бей... Это — военная добыча, и её нужно поделить соответственно между всеми союзниками, — ответил Ушаков, имея в виду и корфиотов, которые, получив независимость, должны были завести свою армию, и албанцев.

— Россия — очень богатая страна, Турция — бедная, а ты говоришь: поделить! — очень живо возразил Кадыр-бей. — Неужели Россия мало имеет меди, чтобы отлить себе пушки? Неужели ты будешь тащить к себе, в Севастополь, этот хлам, этот тяжёлый груз? Ай-ай-ай, друг Ушак-паша!..

Но, когда Ушаков напомнил о корфиотах и

албанцах, Кадыр-бей был возмущён неподдельно:

— Эта рвань должна считать за честь и то, что мы ей позволили участвовать в таком деле, а не то, чтобы давать им ещё за это медные пушки!

При снарядном голоде на эскадре Ушакова в крепости оказалось сто тридцать семь тысяч ядер и несколько тысяч гранат и бомб. Пороху досталось победителям больше трёх тысяч пудов. Запасных ружей было пять с половиной тысяч и сотни тысяч патронов к ним.

И в то время как Ушаков не знал, чем и как прокормить и во что одеть и обуть своих людей, осаждавших крепость, осаждённые оставили провианта на весь гарнизон на два месяца, и склады их были полны запасной мундирной одежды, обуви, рубах, одеял, тюфяков и прочего добра.

И всё это добро очень нравилось Кадыр-бею, и всё чаще повторял он при дележе добычи, что Россия богата, а Турция бедна, и всё сильнее негодовал на то, что нужно что-то такое дать албанцам и корфиотам.

Но зато он не спорил с Ушаковым, когда дело дошло до дележа военных судов, стоявших в гавани. Не спорил даже, когда Ушаков попенял ему, что вот нет в этой бухте мощного корабля «Женере», который явился бы очень ценным призом, нет и бригантины, которая и прошла в крепость и ушла из крепости, уведя «Женерé», через линию турецких, а не русских судов.

К слову напомнил Ушаков Кадыр-бею, что почти вся тяжесть блокады и осады легла на плечи экипажей русских судов, в то время как турки кейфовали себе за их спиной.

Кадыр-бей не спорил и против этого; даже больше: он признавал, что порядки в турецком флоте плохи, очень плохи, но ведь зато султан и

подчинил его, полного адмирала, Ушак-паше, хотя тот всего только вице-адмирал, и приказал ему у него учиться.

Ушакову очень нравился фрегат «Леандр». Он был отремонтирован после боя с «Женерé» и теперь представлял собою вполне исправное судно. Как истый моряк Ушаков залюбовался им и решительно заявил, что оставляет его за собою.

Кадыр-бей вздохнул и сказал:

— Что делать, если другого такого же «Леандра» здесь нет? Турции пусть достаётся всё остальное,— что делать!

«Ла Брюнь» не представлял особой ценности, а бомбарда и галеры тем более — на том и закончили делёж добычи. Но оказалось впоследствии, что хитрый Кадыр-бей даже и при таком неравном дележе всё-таки выгадал: Англия потребовала свой бывший фрегат вернуть ей обратно, и Павел приказал Ушакову вернуть его.

Весь мир ахнул, когда облетела его весть о взятии после непродолжительной осады коротким энергичным штурмом крепости, которой никто не был в состоянии взять с боя в течение нескольких веков.

Адмирал Нельсон, всё ещё осаждавший в то время Мальту, прислал Ушакову поздравительное письмо. Суворов, воевавший в то время с французами в Италии, был так восхищён действиями Ушакова, что говорил: «Помилуй бог, как я жалею, что не был при этом хотя бы мичманом!»

Павел I произвёл Ушакова в адмиралы, а султан Селим III наградил его челенгом, то есть бриллиантовым пером на шляпу, что представля-

до тогда в Турции высшую степень в списке наград.

А тот, который изумил мир и Нельсона, и Суворова, скромно сидел целыми днями в своей каюте на корабле «Св. Павел», выработывая пункт за пунктом конституцию для вновьявленной Ионийской республики на освобождённых им островах и текст присяги для выборщиков в Большой и Малые советы.



---

## ГВАРДЕЕЦ КОРЕННОЙ

(Новелла)

Гремел Бородинский бой.

Дрались на совесть с обеих сторон: русские войска стремились отстоять Москву, сердце России; французы горели желанием взять Москву, так как это сулило им конец войны; кроме того, они, предводимые Наполеоном, привыкли к победам, чего бы ни стоили эти победы.

Лейб-гвардейский пехотный Финляндский полк в этом ожесточённом бою несколько раз ходил в контратаку, и в третьей гренадёрской роте полка показал себя в этот день правофланговый, ефрейтор Леонтий Коренной.

Что он мог себя показать в рукопашном, — в этом не сомневались его однополчане, но раньше не приходилось, — не было случая. Гвардейские полки стояли в Петербурге и около него, и казалось, что век будут так стоять, предназначенные для царских смотров и парадов.

Но когда в июне 1812 года невиданная до того армия Бонапарта в шестьсот тысяч человек перешла через пограничную с Пруссией реку Неман и вторглась в Россию, то пришлось двинуть на защиту Москвы и гвардию.

Фамилии часто бывают будто припаяны к людям, — клещами не оторвёшь; так кто-то припаял

предку Леонтия фамилию живописную и попал в точку.

Теперь нет уже почти нигде лихих троек, а в старой России без троек не было дорог; и в каждой тройке коренной, коренник был самым дюжим, самым видным, самым надёжным конём.

Пристяжки вели себя легкомысленно: они извивали шею змеями, держа головы на отлёт, точно озабочены были только красотой бега; другим не полагалось, оглобель тоже, — только шлеи. Но впряжённый честно в оглобли, подтянутый расписной дугой, коренник держал голову прямо кверху, глядел строго, слушал поддужный колокольчик, не прядя ушами, тянул экипаж ревностно, за что и пользовался неизменным уважением густобородого кучера, щедрого на раздачу кнута обоим пристяжкам.

Часто говорило о Леонтии Коренном начальство на смотрах, обращаясь к командиру третьей гренадерской, то есть девятой роты:

— А правофланговый у вас молодчага!

Но командир роты это и сам знал, а солдаты-одноротцы, даже одних лет с «молодчагой», не только новобранцы, почтительно звали его «дядя Коренной».

Был он добродушен, как и полагается подобным молодчагам, и, занимаясь «словесностью» с молодыми солдатами, как старослужащий и вдобавок ефрейтор, любил озадачивать их загадками.

Спросит, бывало:

— А ну, что такое-ка, отгадай-ка: «Был телком, а стал клещом: впился мне в спину, а без него — сгину».

Конечно, куда же молодому деревенскому парню отгадать такое, и Коренной ухмыльнётся в усы, крутнёт головой и сам скажет:

— Да ведь он из телячьей кожи, ранец-то наш солдатский.

И тут же, к случаю, ввернёт ещё загадку:

— «Кафтан, хотя бы сказать, чёрный, а бедный; сапог хотя из тебя жёлтый, а медный; хлеба не молотит, а по ногам колотит». Что такоеча?

Это — тесак. Но были у Коренного и ещё загадки — о патроне, о пуле, о курке, о пушке, о солдатской пуговице, которая «не платит оброку, а служит без сроку», и о каждой вообще вещи из солдатского обихода: он любил всё складное и со смыслом и хранил в памяти, как святыню.

Но самой большой святыней в те времена, в бою, кроме знамени полка, был локоть товарища: в рукопашную ходили густыми колоннами, рассыпного строя не знали, от локтя товарища отрываться считалось тягчайшим преступлением против правил дисциплины. Шла стена, ошетиленная штыками, способная не только выстоять под бешеным натиском конницы, но и обратить её в бегство,— так было здесь, в Бородинском бою.

Однако таяла стена под градом ружейных пуль, картечи и пушечных ядер, и вот только тогда, когда разбивалась стена на отдельные куски, звенья, людские толпы, возможно становилось действовать в меру своих личных сил и способностей.

И вот тут-то, когда третья гренадерская (гренадерскими ротами в пехотных полках того времени назывались первые роты батальонов, то-есть 1-я, 5-я, 9-я и 13-я; остальные были «мушкетёрские») рота Финляндского полка потеряла в схватке с французами своих офицеров, шестеро солдат во главе с ефрейтором Коренным защищали несколько часов русскую позицию на опушке леса.

Потом, когда все шестеро были они представлены к награде,— к георгию 4-й степени,— их подвиг изложен был так:

«Во всё время сражения находились в стрелках и неоднократно опровергали усиливающиеся его цепи, поражая сильно, и каждый шаг ознаменован мужеством и храбростью, чем, опрокинув неприятеля, предали его бегству, выгнав его на штыках из лесу, заняли то место, которое ими несколько часов упорно было защищаемо».

Так не особенно вразумительно писали о Коренном с товарищами русские полковые писари двенадцатого года. Но через год пришлось писать о нём одном и полковым писарям французским.

В октябре 1813 года под городом Лейпцигом, в Саксонии, несколько дней подряд шла «битва народов». Оставив всю свою армию на полях России, Наполеон успел собрать новые силы и дал здесь сражение объединённым войскам русским, австрийским, прусским и шведским. Здесь военный гений величайшего полководца должен был уступить двойному превосходству в силах, и сражение окончилось отступлением Наполеона после огромных потерь, но и отступая, французы были ещё настолько сильны, чтобы вести с собою пленных, даже и раненых.

В числе таких раненых пленных был и Леонтий Коренной.

Если в Бородинском бою сражалось с обеих сторон до четверти миллиона, то в «битву народов», затянувшуюся на пять суток, было втянуто полмиллиона людей при двух тысячах орудий. Кажалось бы, совершенно невозможно было здесь проявить себя простому русскому ефрейтору, хотя бы и с георгием за Бородино. Здесь оспаривали победу великие полководцы, здесь было

несколько монархов — русский, французский, австрийский, прусский, неаполитанский (Мюрат); здесь на весы счастья положены были судьбы нескольких государств средней Европы... И всё-таки можно отыскать на карте Германии и на плане великого сражения под Лейпцигом селение Гёссу, которое было атаковано Финляндским полком.

Французы были выбиты из южной части селения, но упорно держались в северной, и когда третий батальон Финляндского полка, под командой полковника Жервё, обошёл деревню, он наткнулся на превосходные силы.

Место боевой схватки оказалось тесным, так как французы получили подкрепление. Сзади русских тянулась каменная стена, и когда барабаны забили отбой, солдаты перебирались назад через эту стену. Но большинство офицеров батальона, столпившись при 9-й роте, были ранены, как и сам полковник Жервё, а другого пути отступления не было, — остатки батальона оказались плотно окружены французами.

И вот французы увидели, как одного за другим брал своих раненых офицеров на руки рослый плечистый гвардеец, украшенный белым крестом. Он поднимал их до гребня стены, откуда они валялись вниз в безопасное для себя место, в сад. Последним был отправлен таким же образом за стену полковник Жервё, который был хотя и легко ранен, но оставался уже батальонным без батальона и вот-вот мог очутиться в плену.

Пока гвардеец был занят этим, около него отбивались ещё штыками десятка два человек первого взвода роты. Но вот упал из них один, другой... вот падает третий, проколотый штыком...

— Держись, братцы, крепче!.. Э-эх, двух смертей не бывает, одной не миновать, — закри-

чал Коренной, начиная работать штыком так, как только он мог работать.

И французы попятились, — сразу шире стало место около стены.

— Эй, не сдавайся, ребята! — кричал, ободряя других, Коренной, хотя и видел, что помощи ждать неоткуда, а французов было тридцать против одного.

И никто не сдался. И все легли на месте, как герои. Оставался один Коренной. Он был уже ранен в нескольких местах штыками, он был весь полосатый от крови, но, прижавшись к стене, парировал удары и наносил их сам, пока не сломался штык у хомутика. Тогда перехватил своё ружьё Коренной и начал действовать прикладом, как дубиной...

И такое уважение к себе внушил Коренной французам, что, когда упал он, наконец, на кучу тел, около него стали почтительно: никто не осмелился его добить.

Напротив, насчитав на его теле восемнадцать штыковых ран, недавние враги уложили его на носилки и отнесли на перевязочный пункт. Французские лекари, удивляясь крепости кованых мышц русского солдата, пришли к выводу, что из всех восемнадцати полученных им ран нет ни одной опасной для его жизни. И действительно, тут же после перевязки Коренной встал на ноги.

Наполеон имел обычай посещать раненых на перевязочных пунктах, сделал это он и теперь, и когда увидел Коренного и услышал доклад, при каких обстоятельствах был взят он в плен, он поразился.

— За какое сражение он получил крест? — спросил полководец.

Коренному кое-как перевели вопрос Наполеона, и он ответил коротко:

— Бородино.

— А-а... Бо-ро-ди-но...

Перед баловнем побед, только что покинувшим поле сражения, которое он не считал бесповоротно проигранным, встала картина страшного боя под Москвой. Об этом бое впоследствии, на острове Елены, писал он, как о самом ужасном из всех пятидесяти данных им сражений.

Живым напоминанием о нём был теперь вот этот сплошь израненный и всё-таки мощный русский гвардеец, спасший всех своих офицеров и державшийся в рукопашном долгие все солдат...

«Маленький капрал» потрепал по плечу Коренного и сказал своим адъютантам:

— В завтрашнем приказе по армии объявить о подвиге этого русского героя... Поставить его в пример всем моим солдатам... Из плена освободить, как только он в состоянии будет добратся до своих...

И на другой день Леонтий Коренной попал в приказ по французской армии, подписанный самим Наполеоном, как образец для подражания даже и французским гренадерам, удивлявшим геройством весь мир.

В Финляндском полку спасённые Коренным офицеры, собравшись через неделю после «битвы народов», жалели о том, что полк лишился своего молодчаги, и вдруг он предстал перед ними, хотя и с забинтованной головой и с подвязанной к шее левой рукою и еле передвигавший израненные ноги, но бодрый, и браво отрапортовал своему ротному:

— Вашвсокбродь, честь имею явиться: из плена прибыл!

---

## ПЕРВАЯ РУССКАЯ СЕСТРА

Шел сентябрь 1854 года. Севастополь ожидал французов и их союзников, которые так внезапно высадились на евпаторийском берегу Крыма. Они уже успели опрокинуть слабый заслон, выставленный против них князем Меншиковым на речонке Альме.

Ведавший обороной города вице-адмирал Корнилов устроил на случай бомбардировки и штурма два перевязочных пункта: один в городе, другой на Корабельной слободке. В этот последний была зачислена им лично в штат медицинского персонала первая русская сестра милосердия — восемнадцатилетняя матросская сирота Даша.

Корабельная слободка основалась в одно время с тем казенным Севастополем, который показывал Екатерине II Потемкин в 1787 году. Слободку эту заселили корабельные плотники, уроженцы Воронежской, Рязанской, Калужской и других губерний, где привился этот промысел с лёгкой руки Петра.

Впоследствии рядом с ними стали селиться отставные матросы, занимаясь кто извозом, кто огородами... Селились тут и матросы старых сроков службы, обзаводившиеся семейством.



Таким матросом, кое-как устроившим себе с женой хатёнку, был и отец Даши. Он был убит в Синопском бою, а мать её умерла раньше.

Даша выросла как дитя бухты и взморья. Плавала она, как дельфин, гребла не хуже самого заправского гребца и ловко ставила парус. Её приятели были приходившие к отцу матросы...

Но вот перед её глазами два батальона этих матросов, поблескивая ружьями в пешем строю и лихо распевая песни, пошли вместе с батальонами армейцев встречать неприятеля на Альме.

Долго глядела им вслед Даша и... не могла усидеть дома.

Она продала отцовский ялик и сети, кур и восьмимесячного борова,—всё, что можно было продать, чтобы купить у водовоза-грека его клячу весьма пожилых лет вместе с двуколкой и упряжью. Двдцативедёрную бочку его она променяла на два крепких бочонка, не тяжёлых для клячи, нажарила рыбы, напекла хлеба, собрала у себя и соседей разного тряпья для перевязки ран и задумалась над тем, как же ей появиться на поле сражения в её розовом ситцевом платье. И не допустят, пожалуй, и мало ли что может из этого выйти.

Висевшая на стене отцовская бескозырка дала ей мысль переодеться юнгой, каких довольно много было во флоте.

Она перешла на свой рост широкую отцовскую матроску и шаровары, спрятала в недрах его бескозырки свою золотистую длинную косу и, сделавши всё, что могла, двинулась, наконец, через долины речек Бельбека и Качи к роковой Альме.

Через казачьи пикеты пробралась, лихо дер-

жась, как самый заправский юнга, увязалась в хвост какого-то обоза, чтобы не очень бросаться в глаза. Но обоз остался около Качи, она же под покровом сумерек двинулась дальше и как раз накануне сражения добралась до войск.

Устроившись в укрытом месте, в кустах дубняка, жадными глазами следила она за передвижениями батальонов, за разрывами неприятельских гранат, за всем, что издали могла разглядеть в почти сплошном пороховом дыму и пожарах.

Но вот повалили раненые в тыл, на перевязочные пункты, а иных несли на скрещённых ружьях, покрытых шинелями.

Тогда началась работа Даши.

— Сюда, сюда! — кричала она тем, кто шёл ближе, и зазывающе махала руками

Подходили. И таким чудодейственным воскрешающим напитком оказалась для раненых обыкновенная вода в её двух бочонках, что Даша всё жалела, что не взяла третьего...

Очень быстро расхватили и хлеб, и жареную рыбу, и тогда-то она развязала свой узел чистой ветоши, чтобы перевязывать раненых.

Ей никогда не приходилось делать этого раньше, и солдаты сами показывали ей, как надо бинтовать руку, ногу, шею, голову.

Перевязывая раны и всячески пряча при этом поглубже свой ужас перед такими, никогда не виданными ею раньше жестокими увечьями человеческих тел, Даша однообразно, но с большой убедительностью повторяла каждому:

— Ничего, заживёт... Ничего, срастётся... Затянет, — кровь у тебя здоровая. Это уж мне видать!..

И раненым становилось легче от одного певучего девичьего голоса юнги и от его осторож-

ных и ловких тонких рук и от участливых васькиных глаз.

А один с раздробленной осколком снаряда рукой, которому несмело завязала она руку полотнощем своего старого линялого платья с голубыми цветочками, бормотал, покачивая головой:

— Это прямо ангела своо небесного бог нам послал!

Но этот раненый мог итти, а на свою двуколку, сбросив с неё бочонки, Даша усадила другого, тоже перевязанного ею, раненного в обе ноги, а сама шла рядом, держа вожжи в руках.

Этот раненый был беспокойный: оглядываясь кругом, он повторял то н дело:

— Теперь шабаш! Будь бы ноги в исправности, ушёл бы, а так каюк... Вот-вот француз нагрянет конный, и крышка.

— Доедем, небось, — спокойно отзывалась ему Даша.

Через Качу в сумерках переходили вброд. Кобыла долго пила, когда вошла в речку. У Даши выбилась коса из-под фуражки, и раненый спросил удивлённо:

— Да ты же никак девка, а?

Даша уже не скрывалась, а раненый говорил:

— То-то я даве думаю: «Отколь у этого малого сердце могло такое взяться, до людей приветное?». Мне оно и даве казалось: не девка ли? Да спросить у тебя робел я через свои ноги...

Когда же утром добрались до Северной стороны, до бухты, кругом Даши все уже знали, что она матросская сирота с Корабельной слободки, потому что узнали её столпившиеся у пристани матросы из морских батальонов.

После этого памятного дня Даша не хотела уже расставаться со своими ранеными, которых перевязывала ветошью на Альме. Она продала и кобылу, и двуколку, явилась к начальству и просила, чтобы ей разрешили ходить за ранеными в госпитале.

Очень несообразной показалась начальству такая просьба, однако передали её самому Корнилову, и адмирал потребовал к себе Дашу. Худой, длинный, очень строгий на вид, Корнилов, оглядев её, спросил сурово:

— Чья такая?

— Матроса Александрова, сирота, — смутившись немного, сказала Даша. — Марсовый на корабле «Три святителя» был...

— О чём просишь?

— Дозвольте мне за моими ранеными ходить?

— За какими такими «твоими»? — удивился Корнилов. — Чем ты их ранила?

— Какие на сражении крепко раненные были, а я им перевязку делала...

— В сражении была? Вот ты какая! — и подобрело вдруг сразу суровое, худощёкое лицо адмирала. — Да ты героиня! О твоём подвиге непременно напишу в Петербург.

Даша же и не догадывалась, что сделала подвиг, да и самое слово это «подвиг» понимала смутно.

А в Петербурге, в царском дворце, как раз в это время томительно долго решался вопрос об «Общине сестёр милосердия», которую предположено было назвать «Крестовоздвиженской», и готовились особой формы золотые кресты, какие должны были носить сёстры, большей ча-

стью дамы из высшего общества. на груди, на голубых лентах.

Знаменитый хирург, академик Пирогов, получивший разрешение ехать в Севастополь с отрядом сестёр, привлечён был дворцом для составления устава общины. Дамы, готовясь возложить на себя тяжёлый крест, практиковались под его руководством в деле ухода за ранеными в одном из лазаретов столицы. Столичное общество смотрело на это новшество в полнейшем недоумении... А в Севастополе юная Даша с Корабельной слободки уже вошла самочинно в историю как первая русская сестра, настоящая и подлинная сестра всей миллионной массы солдат и матросов.

Николай Иванович Пирогов, опередив первый отряд сестёр «Крестовоздвиженской общины» и приехав в Севастополь в начале декабря, немедленно отправился осматривать госпитали и перевязочные пункты Севастополя.

Под городской перевязочный пункт было занято самое роскошное здание в городе — дом дворянского собрания, где до войны давались балы, где на хорах гремели судовые оркестры, где были огромный двухсветный зал для танцев и несколько прекрасно обставленных кабинетов. В одном из кабинетов, в котором размещено было человек десять тяжело раненных и между ними пленный француз с отрезанной по самое плечо рукой, Пирогов встретил Дашу. Она помогала фельдшеру перебинтовывать соседа француза, матроса, раненного пулей в шею, причём француз, смуглый и с узкой чёрной бородкой, восторженно глядел на неё и повторял на своём языке:

— Ах, сестра, сестра!

Сюда перевелась Даша всего недели три на-

зад, после того как хатёнку её на Корабельной совершенно разнесло снарядам. Но здесь, на новом для неё перевязочном пункте, она старалась держаться как старослужащая, отлично знакомая с лазаретной обстановкой и с полуслова понимающая, что и как надо делать.

Она привыкла уже к здешним врачам, но когда они вошли в небольшую палату, сразу несколько человек, окружив ещё двух-трёх новых, то такое многолюдство не могло её не встревожить, и она так и застыла, обернувшись к ним, с белым длинным бинтом в руках, с вопросом в расширенных глазах и с невольным замиранием в сердце.

А Пирогов, заметив, у неё на груди, на белом переднике, серебряную медаль на алевшей аннинской ленте, сразу догадался, кого он видит, но на всякий случай обратился вполголоса к сопровождавшему его лекарю:

— Даша?

— Да, это и есть Дарья, — отозвался тот.

— А я ведь о тебе, Даша, слышал, — весело обратился к ней Пирогов, — только, признаться, представлял тебя постарше. Здравствуй!

— Здравствуйте, ваше... — запнулась и покраснела густо Даша, затруднившись определить чин этого приземистого человека с голым черепом, с русыми баками и маленькими серыми глазами, ушедшими глубоко в глазницы: на шинели его совсем не было погон.

— Что стала втупик? — притворно строго намурился Пирогов. — Бери как можно выше и попадешь в точку. Хотя я ещё заслужу ли такую медаль, а ты уж заслужила, — ого!

— И ещё, кроме этого, целых пятьсот рублей деньгами, — добавил лекарь.

— Пятьсот? — Вот, полюбуйтесь на неё, господи! Замужняя?

— Никак нет, девица! — ответила Даша.

— Завидная невеста... И кто же именно так наградил её? Князь Меншиков?

— Не-ет, — протянул лекарь. — Это по приказу из Петербурга.

— Ага! Вот, кстати сказать, Даша, скоро сюда приедет целая община сестёр милосердия, чтобы одной тебе не было жутко.

И, говоря это, дружелюбно положил ей руку на плечо Пирогов.

— Какая же тут может быть жуть? — удивилась Даша.

Она говорила тихо, хотя и вполне внятно, но, видимо, и самый этот намеренно тихий девичий голос волновал безрукого француза.

— Ах, сестра! — снова проговорил он с чувством, восторженно глядя только на неё, а не на всех этих толпою вошедших врачей.

Может быть, забыл он в эту минуту, что он в плену, что он тяжело ранен, лежит на госпитальной койке не в Марселе, и даже не в турецком Скутари, а в том самом Севастополе, который ему приказано было взять и который так жестоко его изувечил.

Он не обратил, казалось, никакого внимания и на человека, к которому относились почтительно русские врачи, у которого был внушающий уважение угловатый и плешивый, как у Сократа, череп. Для него вполне ясна была только одна бесспорная истина — приходят и уходят, отгремев, отгорев, отблестав, войны, приходят и уходят со своими ланцетами и бинтами лекари, — женщина остаётся.

Пирогов же, наблюдая из-под нависших надбровий внимательно и зорко за всем кругом, — за французом так же, как и за Дашей, — сказал, обращаясь к лекарю:

— Да, пусть там что угодно говорят всякие умники и скептики, между прочим, и сам князь Меншиков, как я сегодня от него слышал, — а мысль послать сюда сестёр, это — превосходная мысль!



## ГРЕНАДЕР СЕМЁН НОВИКОВ

(Новелла)

Только что Екатерина II успела посетить Крым, отошедший к России после первой при ней войны с Турцией, как турки начали вторую, чтобы отвоевать и Крым и несколько оставшихся за русскими клочков земли на побережье Черного моря. Одним из таких клочков была песчаная Кинбурнская коса при входе в Днепровский лиман.

В незадолго перед тем основанных Потёмкиным при устье Днепра городах Николаеве и Херсоне строился военный флот для Чёрного моря, поэтому-то, для охраны молодых верфей, на Кинбурнской косе и устроена была небольшая крепость с незначительным гарнизоном, но обстановка всё-таки получилась беспокойная: как раз на другом берегу лимана, в четырёх километрах, считая по воде, стояла себе, как и прежде, большая турецкая крепость Очаков. Не нужно было и лазутчиков: русских петухов было слышно в Очакове, турецких — в Кинбурне, а в подзорные трубы отлично было видно всё, что делалось на низкой песчаной косе, и всё, что творилось на высоком белостенном очаковском берегу.

Пока длился мир, наблюдатели друг за другом здесь и там только на ус мотали; но вот французский король Людовик XV вздумал подбить

султана Селима III на войну с Россией и прислал ему своих офицеров всех родов войск. Султан посадил русского посла Булгакова в семибашенный замок и к Очакову двинул флот с десантным отрядом, чтобы Кинбурн взять и русские верфи сжечь; это случилось в сентябре 1787 года.

Гарнизон Кинбурна был мал, — всего полторы тысячи, но турки знали, что охраной всего побережья лимана от Кинбурна до Херсона ведаёт назначенный Потёмкиным генерал-аншеф Суворов, поэтому десантный шеститысячный отряд был набран из отборных янычар, а во главе его стали французские военные инженеры. Кроме того, человек пятьдесят дервишей, чрезвычайно фанатичных, тоже вошли в состав отряда, чтобы взвинчивать янычар.

Генерал-аншеф в те времена был чин, равный полному генералу, — выше его в армии тогда был только фельдмаршал, и всё-таки под начальством Суворова на охране важнейшего участка было не свыше четырёх тысяч человек войска — пехоты, кавалерии, казаков, — и большая часть их стояла вдоль берега лимана, в который всегда могли прорваться турки.

1 октября, когда у русских был праздник Покрова, турки начали высадку десанта, а их суда выстроились в море: мелкие — канонерские лодки и шебеки ближе к берегу, крупные — фрегаты и корветы — дальше.

Суворов подсчитал, что с этих судов будут палить не меньше как пятьсот орудий по его войскам, если он пустит их навстречу янычарам, и на марше побьют из них половину, поэтому он решил ждать; послал только казаков к ближайшему, верст за тринадцать, своему отряду — батальону Муромского полка, чтобы немедленно шёл на помощь.

Турки же действовали быстро и умело: со своих фелюг они высаживались вне выстрела с крепостных стен, однако тут же, по указке французских инженеров, начинали рыть окопы и укреплять их мешками с песком. Пятнадцать рядов таких окопов было сделано ими раньше, чем повели их, наконец, на штурм. Таща штурмовые лестницы, они шли решительно, явно уверенные в успехе.

У Суворова было три неполных полка: Шлисельбургский, Орловский, Козловский, и в первом из них, в пятой (гренадерской) роте, служил рядовым Семён Новиков, самый обыкновенный с виду, ничем не бросающийся в глаза.

Верхом объехал Суворов выведенный им для отпора туркам гарнизон. Перед пятой ротой шлисельбуржцев остановился, оглядел всех.

— Помилуй бог, молодцы какие!—сказал он.— Чудо-молодцы! Богатыри!..—И вдруг воззрился на Новикова, у которого на штыке желтел жолнёрский флажок, и крикнул как будто сердито:

— Жолнёр, штык выше!

Новиков тут же дёрнул ружьё кверху, а приклад прижал к левому боку и впился своими серыми пензенскими глазами в светлые голубоватые глаза генерал-аншефа.

— Как фамилия? — спросил Суворов, будто всё ещё всердцах.

— Новиков Семён, ваше высокопревосходительство! — гаркнул жолнёр.

— Ну, что, Новиков, распатроним сейчас турок? — спросил Суворов, сдерживая лошадь.

— Как вы теперь с нами, — по первое число всыпем! — радостно отчеканил Новиков.

Суворов полузакрыв глаза, усмехнулся, поправил свою шляпу, подтянулся на седле и поскакал вдоль фронта: было время вступить в дело

артиллерии крепости, нужно было дать сигнал к первому залпу по авангарду наступавших, и Суворов дал этот сигнал, — взмахнул платком.

Загремели орудия левого фаса крепости; в ясный до того, погожий тёплый день ворвались клубы порохового дыма, и бригадный генерал Рек повёл в контратаку два своих полка — Орловский и Козловский, — Шлиссельбургский с Суворовым при нём оставался в резерве.

Прокатилось по жёлтой песчаной равнине «ура» и «алла», начался рукопашный, ближе придвинулись к берегу шебеки и канонерские лодки, корветы и фрегаты: — что было задумано в Константинополе и Париже, воплощалось здесь.

Отчаянно дрались янычары. Им было сказано наперёд, что если они побегут назад, их всё равно не примут на транспорты, а фелюги, доставившие их на берег, отошли к большим судам.

Суворов смотрел не отрываясь. Он стоял перед фронтом шлиссельбуржцев, и Новиков видел его сухую узкую спину и зелёную с прижатыми полями шляпу над ней и каждый момент ждал, — вот он повернётся к нему, Новикову Семёну, и крикнет:

— Вперё-ёд!.. — Ноги уже сами всё будто срывались с топкого песка, и пальцы, зажавшие приклад, занемели от напряжения

Янычары подавались всё-таки, но наши уже тащили оттуда сюда раненого генерала Река, тащили майора Орловского полка Булгакова. Раненые солдаты толпами шли, ковыляя, сами, а на подмогу авангарду турок двигались главные их силы.

И Новиков услышал суворовское «вперёд!», и полк под барабаны и горны пошёл в атаку. Но только что каких-нибудь двести шагов оставалось до своих, как заработали турецкие орудия,

и загрохотало море, и зыбким, как море, стал песок под ногами.

И вдруг Новиков увидел, как впереди его, взбрыкнув ногами, повалилась наперёд лошадь Суворова, — это каменное ядро, — у турок были тогда такие ядра, — оторвало ей голову.

Все бежали вперёд около Новикова, когда он, склоняясь над Суворовым, выпрастывал из-под лошади его правую ногу. Дальше потом, оба крича «ура», они бежали рядом: генерал-аншеф Суворов и гренадер Новиков с своим жёлтым флажком на штыке.

Наконец добежали до свалки, и Суворов искал глазами в дыму, нет ли где офицера верхом, чтобы взять у него лошадь, и как раз увидел двух, как ему показалось, казаков, державших офицерских, — и как будто даже знакомых глазам — лошадей под уздцы.

— Эй, эй, вороны!.. Лошадь мне давай, лошадь! — кричал, подбегая к ним, Суворов.

Однако, хотя лошади то и были знакомые, офицерские, но держали их не казаки, — янычары. Они переглянулись, мигнули друг другу и с саблями наголо бросились на русского генерала, оставив пока лошадей.

Отбиваясь от них своей саблей, Суворов только крикнул назад:

— Новиков, ко мне! — как тот отозвался радостно:

— Здесь Новиков, — и в живот первого янычара всадил свой штык вместе с флажком, а второго угодил в шею насквозь.

Суворов же, не теряя ни секунды, как это только он умел делать, схватил за повод одну из лошадей, вскочил на неё, и вот он уже снова управляет боем... Видя его перед собой, нажали

с новой силой солдаты, и янычары стремительно начали отступать к своим ложементам.

Не помогли ни французские инженеры, бросившие турок в самый разгар боя, ни дервиши, из которых большая часть была перебита.

Но в запасе на транспортах были ещё свежие силы, и когда высадили их, ложементы были снова отбиты у русских. В пылу боя песком засыпало глаза Суворову, и пока он протирал их, то почувствовал, что ранен в бок, и упал без чувств, свалившись с коня.

Теперь не успел он крикнуть: — Новиков, ко мне! — Однако Новиков не отставал от него в бою, кипевшем кругом: ведь ускакать Суворов от него не мог, — некуда было скакать. Как помочь генералу, он не знал, — не знал даже, жив ли он... Уперев приклад ружья в песок и выставив штык, Новиков только глядел, чтобы никто не задавил Суворова, — ни свои, ни чужие.

Но вот подались ли турки, — чище стало кругом, — и вдруг поднял голову Суворов.

— Новиков?

— Так точно.

— Подсади на лошадь!

Оглянувшись Новиков, — лошади не было. Тогда он поднял Суворова, как сноп, и потащил в тыл.

Бой за Кинбурн оказался самым жестоким боем из всех, в каких до того участвовал Суворов. Только подоспевший батальон Муромского полка, — это было уже в темноте, близко к полночи, принёс с собою и полную победу. Десантный шеститысячный отряд был истреблён почти весь. Несколько сот оставшихся в живых были загнаны в лиман и там, на мелком месте, стояли по пояс в воде и кричали «аман». Фелюги к ним подошли только утром.

Суворов, раненный в бок, только промыл рану

морской водой и сам повёл муромцев, но получил новую рану в руку около плеча, пулей завылет. Однако на этот раз Новикова возле него уже не было. Его не оналось и в жиденьком ротном строю на другое утро, — он пропал в последнем бою, ночью. Только на другой день разыскали его среди тяжело раненных.

Он не был забыт Суворовым: в его донесение о бое под Кинбурном был внесён и Новиков Семён. Несколько позже Новиков получил серебряную медаль на георгиевской ленте.

А через 125 лет после знаменитого боя, — в 1912 году, в списки 15-го пехотного Шлиссельбургского полка вписали имя спасителя Суворова рядового Новикова Семёна, как одно из бессмертных русских имён.

## СТАРЫЙ ВРАЧ

(Рассказ)

### 1

Когда 22 июня врач-хирург, которому было уже под семьдесят, пришёл неторопливо, как обычно, в свою больницу, к нему обратились там:

— Иван Петрович! Вы слышали? — Война!

Он не слышал про это: у него в квартире не было радио.

Он видел, что лица у всех растерянные, что все страшно возбуждены и мечутся беспорядочно.

С кем война, ему даже и догадаться сразу было трудно, пришлось спросить.

У него начались перебои сердца, и он налил себе воды из графина.

Потом пришла его жена, тоже врач, только терапевт, тоже старый уже человек, с сильной проседью в редких тёмных волосах. Она взволнованно поглядела на него сквозь очки и сказала:

— Знаешь, что я слышала на улице, Иван Петрович?

— Знаю, Надежда Гавриловна, — ответил он.

В этом обращении их не было никакой торжественности, продиктованной необычайной минутой, — они просто давно уже привыкли так, по имени-отчеству, называть друг друга.



— Я думаю, что это очень, очень скверно!— сказала она, сквозь очки глядя на него пытливо.

Он кивнул головой и отозвался, как эхо:

— Скверно!

Потом пошло совершенно непостижимо для них,— пошло изумительно быстро, как никогда и не думалось им.

Город, в котором они жили, был за несколько сот километров от западной границы, но каждый день они убеждались, глядя на карту, как заметно сокращается расстояние между их городом и фронтом.

— Если они будут так идти и дальше, Иван Петрович, то...— сказала и не договорила как-то она.

Он же пригладил, стараясь делать это совершенно спокойно, свои серебряные с зачёсом справа налево, профессорские длинные волосы и ответил уверенно:

— Остановят, Надежда Гавриловна, остановят.

Но так как город стоял при море, то с первых же дней войны в нём стали ожидать десантные отряды немцев. Поэтому на самом берегу начали поспешно воздвигать проволочные заграждения, вбивая виноградные колья в сыпучий голубой гравий на пляже.

Когда делали это, был полный штиль, — море лежало, как зеркало,— но дня через два после этого задул норд-ост, начался шторм, волны яростно хлестали в берег, проволочные заграждения в первый же час сорвало прибоем, и кружево колючей проволоки вместе с новенькими весёлыми кольями заплясало на гребнях горбатых валов. Потом, когда наигралось ими море, они валялись на берегу, эти проволока и колья, колючими, как ежи, грудями. Купальщики оттаскивали их подальше, чтобы они не мешали разде-

ваться и входить в море. Потом стали забивать колья за пляжем, куда не дохлестывал прибой.

Все начали рыть щели около своих домов, чтобы укрываться от осколков бомб. Немецких бомбардировщиков ждали тоже со стороны моря, с берегов Румынии.

Иван Петрович не только нимбом белых волос, но и всей осанкой и манерой глядеть на людей и говорить с ними походил на старого профессора. Живя долго уже в этом городе, где были в окрестностях виноградники и винные подвалы и всюду по ларькам продавалось вино, он не пристрастился к вину, хотя такое пристрастие почему-то часто встречается у хирургов.

— У тебя, Иван Петрович, никогда не бывает головных болей, и ты не теряешь памяти,— вообще у тебя нет внешних симптомов склероза мозга,— как-то сказала ему жена.

На это Иван Петрович отозвался так:

— Кстати, склероз мозга... я сегодня говорил с нашим зубным техником Прилуцким,— думает ли он уезжать и куда именно ввиду того, что немцы-то приближаются... И, представь, что он мне ответил: «Никуда не поеду!» — «А если,— говорю,— всё-таки дойдут до нас немцы?» — «Вот так сюрприз,— говорит,— немцы! Что же, я не знаю, кто такие немцы? Небось, и у немцев есть зубы... Не всё ли мне равно, в чьи зубы смотреть?» — «Неужели, — говорю, — останетесь?» — «Непременно, — говорит, — останусь! Мне очень даже интересно будет посмотреть на немцев!» Как ты думаешь, Надежда Гавриловна, это, пожалуй, у него склероз мозга, а?

— Нет, Иван Петрович, — решительно ответила она, — это у него просто подлость, а не склероз!

Чем отчётливей чувствует человек, что он уходит из жизни, тем милее становится для него всё кругом. Жизнь каждый день подносит ему тогда в давно известном неизведанно новое. Человек глядит на повседневно-привычное, а это привычное так неожиданно вдруг сверкнёт, что глазам становится больно от счастья.

Это бывает в здоровой старости. Это бывало и с Иваном Петровичем, так как был он в общем здоровый старик.

Когда Надежде Гавриловне хотелось убедить-ся, не сильно ли дряхлеют его сердечные мыш-цы, и она прикладывала к его груди стетоскоп и внимательно слушала, то говорила потом:

— Ничего, сердце по паспорту... Даже, пожа-луй, несколько моложе.

В таких и подобных случаях заботы о нём, как и о других тоже, Иван Петрович и в жене, с которой прожил тридцать шесть лет, видел но-вое, его умилявшее. Он даже удивлялся, как это могло случиться, что не вполне разглядел это раньше.

Дом, в котором они жили,—и очень долго жи-ли, около двадцати лет,—стоял на горке, к не-му нужно было подниматься по каменной лест-нице, идущей от улицы, но оба они пока ещё не видели в этом неудобства.

— Зато у нас тут, на вышке, воз-дух — пер-вого получения — как а-на-нас!— говорил часто Иван Петрович.

Это значило, что через их вышку летом тяну-ли то с моря к горам, то с гор к морю бризы — лёгкие береговые ветры, поэтому воздух тут был гораздо свежее, чем на улицах внизу.

Ивану Петровичу казалось даже, что и чайные

розы, которые он сам прививал к кустам шиповника около дома, удались ему совершенно исключительно. Он любил «оперировать» их, то есть подрезать весной и осенью, придавать кустам желаемую форму. Они были ремонтантные и цвели вплоть до января.

Как-то пришлось ему оперировать и бродячую собаку — овчарку, попавшую под автомобиль. Собаку только помяло и проволокло по улице, отчего в спину ей вонзился разный уличный сор. Собака эта поправилась и осталась у него. Звали её Ральфом, ласкательно — Ральфашкой, сокращённо — Фишкой и Фишей. Через год Надежда Гавриловна принесла в корзине щенка, сына Фиши, круглого, как мяч, и до такой степени пушистого, что его тут же назвали Пушком, — ласкательно Пушей. Так они и жили при доме вместе — Фиша и Пуша, чистокровная овчарка и помесь, — жили дружно на редкость.

Иногда говорил о Фише Иван Петрович:

— Посмотри-ка, Надежда Гавриловна, — что у него за глаза! Совсем человеческие! Даже смотреть в них неловко как-то...

— Умница! — подхватила Надежда Гавриловна. — И чутьё какое! Пробовала прятать от него вот этот камешек в десять мест, везде находил!.. Пуша, конечно, не такой умный, зато он такой симпатяга, что просто прелесты!

Пуша Ивану Петровичу тоже нравился очень, но он делал вид, что раз навсегда поражён его необычайно кудлатой бурой шерстью, и иногда говорил ему, стараясь смотреть при этом строго:

— Нет, брат, ты ещё докажи мне, что ты — собака, вот что-с! А то я, брат, хоть зоологию и не плохо знаю, однако не понимаю, что ты за зверь такой!

Лёжа около ног Ивана Петровича, Пуша глядел вопросительно в его глаза и урчал виновато.

### 3

Горы кудрявые, как овчина, теперь, летом; море, ослепляюще голубое, хотя и потерявшее свою безмятежность; весёлые по утрам черепичные бледнокрасные крыши домов; ленкоранские акации, которые здесь звали мимозами и которые пышно рдели розовыми шапками цветов теперь, в разгар лета; извилистый мягкий на-глаз пляж и многое множество другого привычного,— ведь всё это и без того уже отдалялось, уходило от старого Ивана Петровича, однако уходило исподволь, улыбочиво, как уходит любящая мать из-детской, когда засыпают вечером дети, набегавшись днём.

Теперь же всё убегало стремительно, всё мрачнело, всё чуждало, и эта новизна во всём была неприятной, тревожащей, как блеск очень близко мелькнувшей молнии, из которой вот-вот, сию секунду тарарахнет в уши такой оглушительный гром, что поневоле присядешь.

Молнии выстрелов и гром канонады приближались неуклонно: линия фронта придвигалась к тихому городу на берегу моря. Песок и гравий с пляжа всё время насыпали в мешки для защиты от бомб и увозили на зелёных грузовиках. Роты истребительного отряда маршировали на площади и проходили по улицам. Стёкла окон, заклеенные было в начале войны бумажными полосками, теперь стали усердно заклеивать полосками тряпок, но опытные люди говорили, что это не спасёт, что при первой же бомбардировке стёкла вылетят.

Как только смеркалось и наступала темнота,— так и царила эта темнота до рассвета. В темноте слышнее почему-то становился обыкновенный слабый прибой вдоль берега и неотвратимей казалось то последнее, что приближалось с запада, как потоп.

Когда начинали сбор средств в фонд обороны страны, Иван Петрович горячо выступал на митинге, вспоминая при этом Минина и нижегородцев, и сдал старинные золотые часы, серебряные ложки, все облигации займов и пачку денег. Потом он с Надеждой Гавриловной собрал всё медное, что нашлось в его квартире: самовар, таз для варенья, колокольчик, ступку с пестиком,— и тоже отнёс на приёмочный пункт.

Каждое утро он справлялся у соседей, где был репродуктор, что передавалось с фронта, и смотрел на карту. Каждый день он читал в газетах о том, как расстреливали, вешали, пытали, заживо засыпали землёй в воронках от снарядов, заживо сжигали в домах и сараях советских людей немцы.

— Что это, а?.. Что это такое, я спрашиваю?— обращался Иван Петрович к жене.— Целое поколение атавистов там в Германии или сумасшествие всего народа? Война это?— Нет, это не война!.. Войны были, и мы тоже войны имели несчастье видеть, но изобрести такую войну могли только сумасшедшие или гориллы!.. Вероятнее, первое! Если от сумасшедших не защищаться, они, конечно, истребят всех. Они ведь открыто говорят, что им нужна территория только, а не население наше. Вон как они думают... и делают! Но погодите, голубчики! Цыпят по осени считают!.. Вы уже и так застряли у нас сверх вашего срока, что-то вам наша осень скажет!

Осень, между тем, подходила. Здесь она, впрочем, отличалась от лета только большим изобилием плодов, этот год выдался необыкновенно урожайным.

Памятливые садоводы, полеводы, огородники говорили, что и тот год, когда началась первая мировая война, был тоже из ряда вон урожайным, и даже пытались сделать из этого какие-то мистические выводы. Не знали, куда девать помидоры, арбузы, дыни... Перестали гонять ворон с ранних груш в садах, так как не видели возможности ни сохранить, ни продать эти груши.

Прежде, когда поспевал виноград, по виноградникам ходили люди с трещётками,— пугали дроздов, очень вредных для хозяйства птиц, хотя и хороших певцов ранней весной. Теперь дрозды — чёрные и серые — безнадёжно портили и истребляли поспевающие тяжёлые кисти.

В винных подвалах, где выдерживалось вино в тысячах огромных бочек, не знали, что делать с этим вином, а уже подходило время давить новый мускат, аликант, дон Педро, мурвед, саперави. На всякий случай возле бочек клали тяжёлые кирпичи, чтобы успеть во-время выбить донья и выпустить наземь вино.

Появились близко от берега большие стада мелкой кефали-чуларки, а следом за ними стада морских хищников—дельфинов, но охотники на дельфинов не выходили уж в море,— они были призваны в армию.

Однажды встретился Ивану Петровичу на улице некий Вальд, лет на десять моложе его, но уже пенсионер. Он весь был какой-то развинченный и всегда нетрезвый. Высокий, борола-

тый, очень скромно одетый, но резких обо всем мнений, ходил он с длинной палкой неторопливо благодаря грыже, но глядел на всех весьма выскомерно.

Он называл себя художником и пробовал доказать это, беря заказы на портреты вождей, но портретов этих у него не принимали. Известно было о нём, что он был одно время нотариусом в Махач-Кала, но попал под суд и отсидел полтора года. Говорили даже, что он во время гражданской войны был поставщиком белых, а его брат казнён ещё царским правительством как шпион.

Но всё это разбивалось тем, что он писал на всех доносы в Москву, где племянник его был прокурором. Доносы эти не раз вызывали запросы оттуда, из центра, — поэтому Вальда здесь боялись: и даже за портреты ему платили, хотя вывешивали другие, а не его.

В больницу на приём он приходил часто, как одержимый страстью находить у себя многие болезни, поэтому Иван Петрович знал даже, что зовут его Фёдором Васильевичем.

При этой встрече с ним в конце сентября он так и назвал его, но Вальд прищурился вдруг насмешливо, подбросил бороду и выпятил нижнюю губу.

— С вашего позволения, немножко не так: не Фёдор Васильевич, а Теодор Вильгельмович! — сказал он очень отчётливо и громко и даже поглядел победоносно вправо и влево, — слышит ли его кто-нибудь ещё, кроме этого докторишки.

Не было сказано слова «докторишко», но Иван Петрович всем своим сжавшимся нутром почувствовал, что так именно и подумал о нём этот новоявленный Теодор, который долгое время был Фёдор.



Голова Вальда под старой соломенной шляпой дрожала, как у привычного пьяницы, но глядел он презрительно, уничтожающе.

Это оскорбило Ивана Петровича. Это заставило его сказать в недоумении:

— Как же это так случилось, что вас отсюда не выслали, хотел бы я знать?

— Выслать?.. Меня?..

Вальд захихикал вдруг хрипло, кашлянул, харкнул наземь и добавил крикливо:

— Я сам, я кого угодно вышлю отсюда, а не меня выплют!

Иван Петрович повернулся ошеломлённый и пошёл дальше, повторяя про себя: «Сумасшедший или только подлец?.. Сумасшедший или горилла?.. Или и то, и другое вместе?»

А Теодор Вальд, очень отчётливый на фоне голубого моря в своей потрёпанной жёлтой широкополой шляпе и грязно-белой рубашке навыпуск, стоял, обеими руками взявшись за длинный посох, и торжествующе глядел ему вслед, задрав бороду.

## 5

Наконец в город сброшены были первые бомбы с немецких самолётов, хотя здесь не было никаких заводов. Самолёты эти появились не с моря, откуда ожидалось они в начале войны, а с суши. Линия фронта проходила теперь не так уж далеко: по улицам города то и дело катились с грохотом тяжёлые военные машины, заставляя дрожать не только стёкла, даже и стены домов.

Как раз в эти дни разыгрался исподволь огромной силы прибой. Пристань тут была старая. Толстые рельсы, на которых она держалась,

давно уже проржавели снизу, истончились, но это не было заметно. Прибой, бросавший уже не песок, не гравий, а целые камни на набережную, раскачал пристань так, что она рухнула. Рухнули вместе с ней и надежды многих, что вот пристанет пароход и увезёт их куда-нибудь к берегам Кавказа. Грохотало море, грохотала земля...

Теперь из города уходили пешком, если не было на чём уехать. Шли прямо берегом на восток, унося с собой, сколько хватало сил нести, самое нужное из домашнего скарба. Спешили, плакали, тащили детей за руки, несли детей, гнали перед собой коров или пытались впрягать их, испуганных, в самодельные неловкие тележки...

Если бы море вылилось из берегов и хлынуло в эту долину, полную виноградников и садов, от него бежали бы так же поспешно, но не так далеко, — только в горы. Теперь не знали, куда именно бегут, где можно будет остановиться.

Фиша и Пуша при разрывах немецких фугасок, падавших хотя и далеко от их горки, поспешно прятались, как и люди, но не в щель, вырытую на дворе, кое-чем прикрытую сверху и грязную после дождя, а под крыльцо дома, где и залегали потом на всю ночь. Их никто не учил этому, — это они придумали сами.

Откупорили винные бочки в подвалах, но вино вытекало медленно, а уж надо было спешить, поэтому взялись за приготовленные кирки. Залили подвалы вином; по колена бродили в вине от бочки к бочке. Воздух около подвалов опьянел и собрал много пьяниц. С вёдрами, с бидонами, с бутылками приволоклись они и кричали:

— Как это можно, чтобы своё доброе губить?... Давай хоть цыбарку набрать!.. Нешто можно,

чтоб всё вино наземь?.. Самоуправцы!.. Вредители!.. Дайте хоть бидончик налить!

Но возле подвалов стояла охрана с винтовками, а из подвалов доносился только глухой гул разбиваемых бочек да крепкий терпкий запах вина, щекотавший ноздри.

В больницу что ни день прибывали новые больные,— все хирургические. Уже некуда было и класть их, а не принимать было нельзя. Пришлось выписать почти всех, кто лежал здесь раньше, а иные, кто мог ходить, ушли сами.

Ушли и врачи. Не то чтобы все сразу,— один за другим уезжали они,— исчезали незаметно. Наконец во всей больнице остались только Иван Петрович, Надежда Гавриловна да три-четыре пожилых сиделки, а тяжело раненных при взрывах бомб, при обвалах домов, при пожарах скопилось несколько десятков человек.

Они стонали, они смотрели воспалёнными умоляющими глазами... Им трудно было помочь, но их нельзя было оставить без помощи,— от них невозможно было уйти.

До прибытия этих раненых Надежда Гавриловна пыталась как-то укладывать кое-что, необходимое в дальнюю дорогу, в два старых чемодана, но чем туже она набивала эти чемоданы, тем больше оказывалось совершенно необходимых вещей, для которых нужны были ещё чемоданы или корзины или узлы. Когда люди сидят на одном месте десятки лет, они обрастают вещами.

Помогая мужу делать операции и перевязывать раненых, Надежда Гавриловна забыла о своих планах поездки куда-то, не вполне ясно, куда именно. Люди страдали, людям надо было всеми мерами сохранить жизнь. Это было на первом плане, немцы — на втором.

И когда через город на восток потянулись, отступая, войска,— это было вечером,— а по радио передали всем жителям города, какие ещё его не покинули, что утром город будет оставлен и занят немцами, Иван Петрович и Надежда Гавриловна, бывшие в это время в больнице, в ней и остались на ночь.

Они не ложились спать, хотя и устали за день. Они не могли бы заснуть и на минуту: слишком резко ломалась жизнь. В то же время их охватило спокойствие за себя, точно смертный приговор в окончательной форме был им прочитан и никаких изменений его незачем было ожидать.

Только раз спросила было Надежда Гавриловна:

— Что-то будет с нами, Иван Петрович?

Иван Петрович отозвался на это, вздохнув и разведя руками:

— Ну что же, и то сказать: пожили на свете... дай бог и другим пожить столько.

Помолчав, спросила ещё она:

— А если будут мучить нас перед смертью, а?

— Мучить?.. Не знаю, право, не знаю, зачем же им нас мучить, — подумав, ответил Иван Петрович.— Наконец наши, может быть, не сегодня — завтра вернутся снова.

## 6

Очень начальственно вошли в больницу немецкие офицеры,— это, прежде всего, остро бросилось в глаза. Никто за последние двадцать с лишком лет не входил сюда так начальственно, как эти высокие длинноногие люди с чужим обличьем.

За переводчика у них оказался Теодор Вальд,

державшийся совершенно нестерпимо важно, так как был назначен помощником бургомистра. Он переменял свою потрёпанную соломенную шляпу на чёрную фетровую, а грязно-белую навывпуск рубаху — на серый в клеточку пиджак.

И офицеры, — их было трое, — ещё только оглядывали палату, в которую вошли, а он, Вальд, уже процедил сквозь зубы Ивану Петровичу, кивая на раненых, лежавших на койках:

— Приказываю вам вышвырнуть отсюда вон эту сволочь! Тут будут помешаться немецкие солдаты.

— Куда же я могу деть людей, не могущих встать с постели? — больше удивился, чем возмутился Иван Петрович.

— Э-это меня не касается — куда именно! — надменно ответил Вальд. — Я-я вам приказываю, — и весь разговор!.. Можете их отравить, — нам калек не надо.

Иван Петрович переглянулся с Надеждой Гавриловной. На её бледном от волнения лице особенно резкими казались чёрные ободочки очков.

Старший из офицеров захотел посмотреть операционную комнату. Здесь он спросил, в каком состоянии хирургические инструменты, и даже попросил отпереть шкаф, чтобы их посмотреть.

В окнах больше было выбитых стёкол, чем целых, но окна защищены были марлевыми сетками от мух, которых теперь, осенью, отродилось особенно много. На это тоже обратил внимание старший из офицеров, перед которым угодливо изгибался Вальд.

Когда он приказал Вальду позаботиться о том, чтобы завтра же были вставлены все стёкла,

Иван Петрович по́нял, что решение обратиться в военный госпиталь бесповоротно.

Офицеры пробыли недолго, но Вальд, уходя вместе с ними, повторил свой приказ очистить палаты. Старый врач с женой и сиделки весь остаток дня провели в том, чтобы как-нибудь устроить раненых. Одних забрали домой их семейные, других соседи, но несколько человек, притом особенно тяжёлых, совершенно некуда было девать и нечем кормить, если бы даже перенести их в дровяной сарай, как думал Иван Петрович, и они пока оставались на своих койках.

К вечеру пришёл Вальд с двумя стекольщиками, которые приташили два плотно набитых ящика стёкол, вынутых откуда-то из окон жилых домов. Иван Петрович думал, что один на один с ним, без немецких офицеров, Вальд будет сговорчивее и отведёт где-нибудь место для этих оставшихся. Но Вальд сказал высокомерно:

— Не только они нам не нужны, но и вы тоже! Убирайтесь отсюда вон сию минуту!

Иван Петрович взглянул в последний раз на раненых, покачал головой и вышел из палаты.

Домой к себе шёл он, держа под руку Надежду Гавриловну, которая очень ослабела, жаловалась на сердце и с трудом поднялась по каменной лестнице на свою горку.

Фиша и Пуша, не видавшие их больше суток, с такой бурной радостью кинулись им навстречу, что едва не сбили их с ног. Подымаясь на задние лапы, визжа, они всё пытались лизать их горячими языками. Потом безумно кружились около них, притворно кусали один другого, и снова подымались на задние лапы и тёрлись головами о плечи Надежды Гавриловны, а та плакала, глядя на их неразумную радость.

Эту ночь, хотя и у себя дома, старый врач и его жена провели не во сне, а в тяжёлом кошмаре: поздно вечером к ним пришла одна из сиделок и рассказала, что оставшихся в больнице раненых немцы «пошвыряли, как брёвнышки», на грузовики и увезли куда-то за город «на свалки».

— Подлецы!.. Гориллы! — в ужасе отозвалась на это Надежда Гавриловна.

— Больше нечего было от них и ждать, — сказал Иван Петрович.

С виду он казался спокойным, но тут же, как ушла сиделка, он начал перебирать лекарства в своей домашней аптечке. От волнения ли, или от того, что в руках его был плохо горевший свечной огарок, он долго не мог найти, что ему хотелось, и бормотал: «Гм... странно!... Куда же он мог деваться?» Наконец нашёл и отставил один пузырёк отдельно, потом, помедлив, сунул его в боковой карман.

Утром к Ивану Петровичу пришёл немецкий ефрейтор, которого привёл уже не Вальд, а зубной техник Прилуцкий, чернявый вёрткий человечек с постоянной ненатуральной улыбкой на тощем лице.

— Ну вот, Иван Петрович, умно сделали, что остались, — очень оживлённо начал он с приходом. — Будем теперь с вами немецкий хлеб есть! Просят вас в больницу на работу... Я — зубы, вы — остальное... Я тоже приглашён, тоже!

— На работу?.. На какую работу? — не понял Иван Петрович.

— Ах, боже мой! На свою, разумеется, на хирургическую, не полы же мыть!

— А я слышал, что оттуда уже вывезли ра-

ненных... — начал было Иван Петрович, но Прилуцкий перебил его оживлённо:

— Напротив,— привезли: несколько офицеров, десятка три солдат... Вообще, я вам скажу, у этих немцев всё делается, как по щучьему веленью... Идёмте же!

— Хорошо, мы с Надеждой Гавриловной сейчас придём,— твёрдо сказал Иван Петрович. — Вы идите туда, а мы — следом.

— Я обещал привести вас!

— Я только выпью стакан чаю, и мы пойдём.

— «Обещал привести!» Странно!— возмущённо сказала Надежда Гавриловна. — Если мы захотим пойти, то и пойдём сами, а если не захотим, то как же именно вы нас приведёте? На верёвке, что ли?

— Даю вам слово, что мы придём сейчас же,— очень серьёзно, глядя на Прилуцкого, подтвердил Иван Петрович.

И Прилуцкий ушёл с ефрейтором, ничего не понимавшим по-русски, стоявшим спокойно, даже несколько сонно, то и дело прикрывая мутные глаза белёсыми ресницами.

— Я не понимаю! — сказала Надежда Гавриловна — Тебя вчера этот мерзавец Вальд буквально выгнал из больницы, а ты Прилуцкому, тоже мерзавцу, даёшь слово опять туда идти. Неужели ты и в самом деле думаешь у них...

— Что Вальд! — перебил Иван Петрович. — Он только показывал, что он теперь у власти. А хирург всякой армии бывает нужен. В хирургах во время войны всегда недостаток.

Жена смотрела на мужа в недоумении.

— Неужели ты... — начала она снова.

Но он не дал ей договорить. Он обнял её, поцеловал и прошептал ей на ухо:



— Придётся пойти, потому что у нас нет шприца.

И он вынул из кармана и показал ей пузырёк.

Она поняла его. Покрасневшие от второй бессонной ночи веки её замигали часто и стали влажными, но она кивнула головой вниз, потом спросила вдруг так же, как и он говорил, шопотом:

— А как же Фиша и Пуша?

— Останутся, что ж... Будут бегать по улицам... пропитаются чем-нибудь...

В больницу пошли они, крадучись от собак, как будто никуда далеко не уходят. По улице шли торжественно, под руку, очень внимательно вглядываясь во всё кругом: в море — блистающее, голубое, широкое; в синюю ленту пляжа, на котором теперь неприятно для глаз несколько немецких солдат возилось около какой-то машины; в далёкий гористый берег и в белые дома на нём, окружённые высокими тополями; в руины бывших домов около и в резко сверкавшее битое стекло под ногами...

Они промедлили дома недолго, но Прилуцкий с ефрейтором снова шли от больницы, как видно к ним же, потому что повернули, увидев их, обратно.

— Вот видишь, как нас ждут,— бодро сказал Иван Петрович.

— Ждут... Ну, что ж,— беззвучно отозвалась Надежда Гавриловна и повторила слышнее...

— Ну, что ж... Пусть ждут.

На дворе больницы их встретил один из вчерашних офицеров, стоявший рядом с услужливо сияющим Прилуцким. Офицер этот, вынув изо рта папиросу, сказал:

— Мозні!

Иван Петрович сделал вид, что не понял этого короткого приветствия, но всё же слегка приподнял свою кепку.

Войдя туда, куда входили тысячи раз, муж и жена надели привычно белые халаты. Шкап с хирургическими приборами, к которому прежде всего подошёл Иван Петрович, был открыт, хотя около него, в операционной, никого не было.

Считая это большой для себя удачей, но чувствуя, что волнуется, старый врач сразу нашёл в нём никелированную коробочку со шприцем и сунул её в карман, выразительно поглядев на жену. Она понимающе шевельнула бровями.

Когда в операционной, из которой была дверь в палату, появился офицер, теперь уже без Прилуцкого, Иван Петрович имел вид человека, готового с большим подъёмом работать в той области, которая ему вполне известна.

## 8

У медиков есть общий язык, поэтому Иван Петрович, плохо владея немецким, довольно оживлённо беседовал с молодым хирургом-немцем, обходя с ним вместе в офицерской палате шестерых тяжело раненных.

Немец-хирург, с простоватым длинным лошадиным лицом, почему-то относился к нему почтительно и даже называл его «герр профессор». Была ли причиной этому профессорская внешность Ивана Петровича, или прибавил ему достоинств Прилуцкий, или просто немец чувствовал себя не особенно сведущим по причине малой ещё практики, но он охотно соглашался со всеми прогнозами своего русского коллеги.

Все раненые офицеры нуждались в немедленной операции,— это подтверждала и Надежда

Гавриловна, очки которой и седые пряди в волосах внушали тоже некоторое уважение к ней со стороны немцев, как к ассистенту «профессора».

Из шести раненых двое были, по мнению Ивана Петровича, почти безнадежны. О них он сказал немцу-хирургу: «Målit!»<sup>1</sup>, и тот подтвердил это скорбным выражением глаз. Но для четырёх других нужно было установить порядок оперирования, и когда это сделали, Иван Петрович спокойно и деловито вынул свой пузырёк без сигнатурки и шприц.

Следившая за всеми его движениями Надежда Гавриловна уловила его лёгкий пригласительный кивок, отошла с ним вместе к окну и протянула ему обнажённую до локтя правую руку.

Наполнив из пузырёка шприц, Иван Петрович сделал инъекцию в локтевой сгиб руки той, с которой прожил он всю свою сознательную жизнь, дороже которой не было для него никого и ничего в жизни.

Руки его дрожали при этом, но он всячески сдерживал дрожь, потом передал пузырёк и шприц ей, предварительно наполнив шприц. Заметив в ней робость, он сделал себе инъекцию сам.

Это отняло у Ивана Петровича всего две, не больше, минуты, но он почувствовал, что силы его слабеют, что ему хочется сесть, даже прилечь. Он видел, что Надежда Гавриловна уже села на белый больничный табурет, что лицо её побледнело, что она подняла руку к сердцу и смотрит на него расширенными, почти неподвижными глазами.

Тогда он собрал всю энергию, какая ещё теплилась в нём, придвинул к её табурету другой.

---

<sup>1</sup> Målit — безнадежно, очень плохо (лат.).

сел с нею рядом, положил голову на её плечо и выпустил из рук опустевший уже пузырёк и шприц.

Тут же вошли в палату хирург-немец, офицер и санитары, вышедшие перед этим, чтобы перенести в операционную первого из предназначенных к операции вместе с его койкой, и остановились изумлённые. Потом хирург бросился к пузырьку, валявшемуся у ног Ивана Петровича, понюхал его и сказал испуганно:

— Venèna! <sup>1</sup>

Сильно и быстро действующий яд, от которого стоял в палате слабый, но характерный запах, убил уже свалившихся с табуретов на пол старого русского врача и его жену.

В кармане умершего нашли бумажку с несколькими словами: «Лучше смерть, чем подлая жизнь под игом горилл с автоматами!»

---

<sup>1</sup> Venèna — яд (лат.)

---

## В СНЕГАХ

(Рассказ)

### 1

В это утро, умываясь около землянки ледяной водой, лётчик лейтенант Свиридов вспомнил только что виденный странный какой-то сон.

Обыкновенно никаких в последнее время снов Свиридов не в состоянии был припомнить, но этот почему-то запомнился.

Он видел свою московскую квартиру на шестом этаже и в ней жену Нюру и четырёхлетнюю светловолосую, в отца, дочку Катю. Они сидели, обнявшись, около окна, в которое смотрели, а ближе к двери на полу стоял электрический чайник, от которого шёл красный шнур к штепселю. Он же сам будто бы вошёл в эту комнату из коридора и вдруг услышал слова, сказанные очень отчётливо и с большой тоской:

— Я — жаворонок. Я умею говорить по-человечески И вот, меня хотят изжарить!

Слова эти шли из чайника, а когда он пригляделся, то оказалось, что чайник почему-то похож на клетку, и в этой клетке-чайнике метался действительно серенький хохлатый жаворонок с безумными от ужаса глазами.

Потом как-то всё путалось, смешалось. Он порывался вытащить из горячего уже чайника-клет-

ки этого изумительного говоруна, но почему-то не мог, а Нюра и Катя уж не сидели возле окна,— их не было в комнате,— и никто не объяснил ему, что это за жаворонок и зачем нужно было его жарить. А потом на дне чайника он увидел только маленькую голую головку уже за-жаренной птички.

В двадцать пять лет люди вообще мало бывают склонны думать о том, чего не бывает в жизни, а здесь, в тундре, где тонули в снегах низкорослые жиденькие корявенькие берёзки и неумолчно гремела война, тем более и некогда было думать об этом.

Кругом лежала вся укрытая снегом тундра, подпёртая на западе грядою сопок, а на севере темнело полосой Баренцево море, и оттуда сейчас тянул лёгкий, но свежий ветер.

В этот день он должен был патрулировать там, в стороне чуть заметно синевших дальних сопок, из-за которых часто появлялись вражеские бомбардировщики, чтобы тревожить Мурманск.

Аэродром, на котором, тщательно замаскированный, стоял в ряду с другими и его ястребок, был укрыт мягким, пока ещё неглубоким снегом.

Свиридов, тепло одетый для полёта, казался издали толстым и неуклюжим, хотя был лёгким и гибким, хорошим гимнастом. Из землянки он вышел, захватив с собой на всякий случай борт-паёк: несколько банок консервов, несколько плиток шоколаду. И вот, быстро пробежав по снегу и оставив в нём широкий след, ястребок оторвался от земли и свечой пошел в высоту.

Как-то вышло так, что лейтенант даже не попрощался с Бадликовым, а вспомнив об этом при взлёте, подумал: «Ну, пустяки какие... Не надолго же лечу,— вернусь ведь сегодня».

Ему часто приходилось вылетать в разведку и возвращаться в положенный срок, никого не встретив в воздухе. Однако ещё с раннего утра он, как и другие, видел, что день наклёвывается ясный. Небо было хотя и облачным, но с большими прозорами бледной голубизны. А когда ястребок прорезал два слоя облаков, небо стало гораздо просторнее, чище... И вдруг разглядел в нём Свиридов три смутных, прячущихся в облаке тени самолётов.

«Может быть, свои — не фашистские?»

Послушный опытным рукам, лежавшим на штурвале, ястребок пошёл на сближение. Свиридову просто хотелось убедиться, что это свои, в чём он был почти уверен, — однако чем ближе он подходил, тем яснее видел: враги.

С земли он узнал бы их по характерному шуму их моторов, но теперь рёв ястребка заглушал все звуки кругом. Врагов выдал их жёлтый комуфляж. Глаза искали на ближайшем из них белый круг с чёрной свастикой в середине и нашли. И тут же пришло решение — напасть.

Чтобы напасть, нужно было набрать высоту. Он быстро взял штурвал на себя — ястребок резко взмыл кверху.

Настал момент. Свиридов выбрал бомбардировщик, который был ведущим в звене, и спикировал на него. Затяжная очередь трассирующих крупнокалиберных пуль пронзила его правую плоскость. Тяжёлая машина начала оседать, но он, увлечшись, продолжал тратить на неё свой запас патронов.

Немецкий бомбардировщик зарылся в тучах и исчез из виду. Упадёт ли, или дотащится до удобного места посадки, этот бомбардировщик был уже выведен из строя, а два другие?

Он присмотрелся к ним и увидел, что они, по-

геряв ведущего, изменили направление и уходят от него во всю силу моторов.

Он полетел вслед за ними.

— Врѣшь, не уйдѣшь, гад! — подвѣнчивал себя лейтенант, заметно покрывая расстояние до ближайшей вражеской машины.

Сбитый им бомбардировщик был третьим по счёту в списке его побед; этот, впереди, вошёл в шеренгу четвёртым. Одного, из двух прежних, он таранил, слегка только погнув свой винт. Он уже видел, что этот стремившийся от него уйти будет второй.

Его увлекла погоня. Это извечно в человеке — мчаться в погоню за всем, что от него бежит, и чем быстрее бегство, тем выше азарт погони.

И такое было чувство уверенности, что его ждёт и здесь полная удача... Однако случилось не совсем так, как ожидалось.

Была ли допущена какая-то небольшая, но роковая ошибка им самим, когда он повис уже над хвостом немецкого самолёта и приготовился всем телом к удару, или немецкий лётчик в какую-то долю секунды чуть-чуть взял влево, но только что винт ястребка ударил в хвост немца, причём от руля глубины посыпались вниз обломки, как Свиридов почувствовал, что левое крыло его ястребка тоже ранено.

От толчка Свиридов едва усидел на месте. Потом точно судорожная дрожь охватила всё тело ястребка: этого не было в тот первый раз, когда он применил таран. И хотя лейтенант видел, как от его удара пошёл вниз бомбардировщик, но радость не появлялась: он чувствовал, что, дрожа и забирая влево, стала снижаться и его машина. Он понял, что левое крыло повреждено, что о полёте дальше или на свой аэродром нечего было и думать, что единственное, о чём он



может мечтать теперь,— это посадить свой самолёт где-нибудь так, чтобы он не разбился и не схоронил его самого под обломками.

Мгновенная оторопь, от которой даже виски под шапкой вспотели, сменилась в нём предельной собранностью: впереди была смерть, если он допустит хоть малейшую ошибку. Где-то нужно было посадить самолёт, но где именно? Внизу видны были только скалистые сопки, обрывы, почти отвесные и потому не покрытые снегом. Вся земля от этих каменных обрывов казалась полосатой, как огромный матрас. А времени для выбора места посадки отводилось в обрез: самолёт мог ещё плавно снижаться, но лететь он уже не мог.

Свиридов был так полон острой мыслью спасти самолёт, а значит, и себя, что не вспомнил даже о сбитом им только что бомбардировщике. На какую из этих сопок внизу он упал, ему было уже безразлично. И велика была его радость, когда он заметил какую-то ровную площадку между гор. Он не сразу понял, что это замёрзшее и покрытое снегом озеро, он видел только, что здесь можно совершить посадку. И вот истребик коснулся колёсами снега, протащился в нём десятка два метров и стал.

Снег лежал неровно — местами меньше, местами больше, но мотора уже больше не стало слышно; тишина и сознание, что жив, что машина цела, что её можно будет ещё исправить и пустить в дело. Нужно было только осмотреться, запомнить местность, сообразить, как и в какую сторону отсюда выйти, чтобы добраться к своим.

Свиридов сдвинул на лоб очки, снял с себя парашют, отодвинул колпак с кабины и огляделся, насколько мог.

Горы обступили озеро со всех сторон, но ска- ты их, поросшие деревьями, были не круты. Их складки, где снег казался особенно глубок, гу- сто синели. Никак не представлялось, чтобы хо- дили где-нибудь здесь человеческие ноги, до то- го нетронутая стояла кругом тишина.

И вдруг тишину эту прорезал выстрел. Это было так неожиданно, что Свиридов не поверил себе,— выстрел или, может быть, треснул лёд... Но спустя две-три секунды ещё выстрел, и даже как будто пуля ударилась о самолёт. Тогда лей- тенант выхватил из кобуры свой пистолет и за- жал в руке, в то же время высунувшись из ка- бины.

Первое, что он увидел, была огромная соба- ка — мышастого цвета дог; двух немцев-лётчи- ков, бежавших тяжело следом за нею, он увидел в следующий момент, и только потом бросился ему в глаза тот самый бомбардировщик, который был так недавно им сбит: немец-пилот посадил его в другом конце того же озера.

Врагов было двое, с огромной собакой, кото- рую вздумалось им взять в самолёт, и собака эта уже подбегала неловкими прыжками, увязая кое- где в снегу, но не в неё, а в переднего из немцев, который стрелял, три раза подряд выстрелил Сви- ридов, и он упал, а дог был уже в двух шагах, и лейтенант едва успел укрыться от него в ка- бину, закрыв колпак.

Дог рычал и скрёб передними лапами колпак кабины. Низко обрезанные круглые уши он при- жал к широколобой квадратной голове; шерсть на затылке поднялась дыбом. Яростные зелёные глаза, огромные белые клыки, пена на красных брыжах, рычание, перешедшее в вой,— всё это за стеклом, тут же, и видно, как подбегает вы- сокий грузный второй немец.

Но сорвался вдруг дог, стремившийся вскочить на гладкий верх машины, и опрокинулся на спину в снег. Точно толкнуло что Свиридова тут же отбросить колпак кабины, перегнуться через борт и выстрелить. Огромная собака забилась на снегу, окрашивая его своей кровью. Встать она не могла уж больше,—голова её была прострелена. Длинным языком она лизала снег.

А немец, толстощёкий, пышащий, грудастый, зелёноглазый, всем своим внешним обликом разительно похожий на своего дога, был уже близко и кричал:

— Погоди, русский, погоди-и!

Русские слова угрозы,— это было так неожиданно, что Свиридов тут же выскочил из кабины навстречу немцу.

Он выстрелил в его сторону, но промахнулся ли от волнения, или только слегка ранил, не понял: немец, рыча по-дожьи и бормоча: «Не уйдёшь, врёшь!», опрокинул его и прижал всей тяжестью своей шестипудовой туши.

Свиридов собрал свои силы, насколько позволило это сделать кожаное пальто, и сбросил с себя немца. Но при этом пистолет выпал из его руки, а немец, оказавшийся через момент снова сверху, обеими руками схватил его за горло.

Видя, что вот-вот конец, что уже нехватает воздуха, Свиридов подтянул левое плечо и вывернул правое из-под немца. Тогда пальцы немца разжались, и лейтенант не только сильно вгянул в себя свежий морозный воздух, но, вспомнив о пистолете, начал нашаривать его около себя в снегу.

Однако немец предупредил его. Руки он разжал затем, чтобы вытащить финский нож из кармана, и торжествующими стали его круглые зелёные дожьи глаза, когда он вонзил этот нож в

лицо лейтенанта и резанул от переносья вдоль левой щеки к нижней челюсти.

Острая боль отдалась в сердце лейтенанта. Нож в руке врага—это была уже явная смерть... И всплыл в памяти дед, как-то раз сказавший: «Если лихой человек беспощадный тебя осилил, вдарь его ногой в причинное место!» Свиридов шевельнул правой ногой, согнутой в колене, и из последних сил ударил немца коленом между раскоряченных ног.

«Лихой человек» вскрикнул глухо и обмяк, опустив руку с ножом, занесённую было для второго смертельного уже удара, а лейтенант тем временем нашарил подмятый им под себя и вдавленный в снег пистолет. Не теряя ни одного мгновенья, он выстрелил туда, куда пришлось дуло пистолета,— в левый бок немца и тут же почувствовал себя свободно: враг сполз с него совсем, он же отодвинулся по снегу в сторону и сел, не имея сил подняться на ноги.

Так сидел он несколько минут. Он глядел в глаза смертельного врага, которые стеклянели, туманились, но не закрывались, и, подтягиваясь рукой до чистого снега, прикладывал его к ране; когда же комок снега багровел от крови, отбрасывал его и брал другой.

Дог перестал уже дёргать лапами, — застыл. Неподвижно лежал в снегу шагах в тридцати другой немец. Неподвижно, как на аэродроме, стояли одна в виду другой две воздушных машины, одна со свастикой, другая с красной звездой.

Всюду на льду озера было тихо, кругом в горах было тихо, вверху, в облачном небе, было тихо. Всё живое здесь было теперь только он один, лейтенант Свиридов,— с лицом, глубоко разрезанным финским ножом.

Боль была острая, не утихающая, гулко отдающаяся в голове.

Сжать зубы оказалось невозможно, так как ранена была и верхняя десна во всей левой стороне и часть нижней, и долго он выплёвывал кровь.

Но нужно было всё-таки встать и, не теряя времени, идти в сторону своих землянок: первозимний день короток везде, а здесь, в тундре, он короче, чем где бы то ни было.

Свиридов подошёл к своему ястребку и взял из него то, что считал самым нужным в дороге: бортпаёк, карту, авиакомпас. Перезарядил пистолет, оглядел в последний раз машины, свою и чужую, и трупы врагов, и пошёл прямо на север, чтобы выйти к морю.

Он то проваливался в глубокий снег, то выбирался на лысый обледенелый камень обрывистых рёбер сопки, то застревал в ползучих деревьях, похожих на кустарник, и не успел ещё перевалить через сопку, как уже надвинулся вечер.

Ему казалось, что отсюда, с порядочной высоты, он должен будет увидеть тёмную полосу моря, как приходилось видеть её с истребителя, но не было ничего видно, кроме других сопкок, густо уже синевших во всех своих впадинах.

Он старался припомнить, как летел в начале полёта, пока не встретился с немецкими бомбардировщиками, и куда повернул потом, чтобы по местности определить, хотя бы приблизительно, где он находится. Но в памяти это стёрлось, заглохло другим, а карта, взятая им, ничего ему не разъяснила: на ней тут было просто белое пятно.

Разогревшись от ходьбы, он не чувствовал холода и, когда совсем окончился день, остановился и сел прямо на снег. Он очень устал и от борьбы с немцем, и от потери крови, и от ходьбы, но когда вздумалось ему хоть немного подкрепить силы шоколадом, который был в его бортпайке, оказалось, что не мог этого сделать. Боль во рту не позволяла сжать зубы, которые к тому же качались. Он подержал на языке кусок шоколадной плитки и выплюнул.

Он знал, что ночь не будет тёмной, что небо на севере вот-вот расцветится сполохами, и сполохи начались, как обычно, каким-то мгновенным разрывом тёмного неба и заколыхались радугой цветов. Отсюда, с пустынной сопки, это было гораздо более величественно, чем оттуда, от своих землянок, однако не менее непонятно.

Снежные шапки сопки заиграли то голубыми, то розовыми, то палевыми полосами и пятнами, и лейтенант Свиридов следил за этими переливами тонов, точно сидел в картинной галлерее. Но усталость постепенно тяжелила и тяжелила веки, и он задремал, прислонясь спиною к камню.

Он именно дремал, а не спал, потому что в одно и то же время отшатывался куда-то в провалы сознания и какой-то частью мозга сознавал, что он на сопке, один, что кругом снежная пустыня, что тянется ночь, что переливисто блещет северное сияние.

Очнулся и откинул голову он, когда что-то коснулось его израненного лица, отчего внезапно стала острее боль. Он даже приподнялся несколько на месте,—огляделся.

Недалеко от себя, на камне обрыва он заметил две светящиеся точки рядом; их не было прежде. Они пропали было на миг и опять зажглись. Он догадался, что это глаза совы,—белой боль-

шой полярной совы; что это она пролетела около него так близко, что задела его крылом, а может быть, даже села на его плечо.

Потом раздался довольно резкий в тишине и неприятный крик: это другая такая же сова пролетела над ним и села недалеко от первой. Ска-тав снежок, он бросил его в сторону двух пар светящихся глаз. Совы слетели, и крик их слышался издали.

Свиридов встал и пошёл дальше, однако свет сполохов, достаточный, чтобы идти по ровному месту при неглубоком снеге, здесь, на стремни-нах сопки, оказался очень обманчивым по своему непостоянству, по прихотливой игре тонов. Лей-тенант проваливался чуть не по пояс в снег там, где ему представлялось твёрдое место, и наты-кался на деревья, тщательно обходя их резкие тени.

Кончилось тем, что через час он сел снова, чтобы дожидаться рассвета. Опять дремал; опять над ним и около бесшумно вились белые совы, а он, прогоняя их снежками, вспомнил случай, бывший на его московской квартире.

Там на балконе зимой Ньюра оставила кое-что из продуктов, и вот замечено было ею, что ис-чезали бесследно то сливочное масло, кусками по сто граммов, то ветчина, нарезанная и накры-тая тарелкой, то даже растерзана была курица, приготовленная для бульона.

Грешили на чьего-нибудь кота, хотя и не по-нимали, как мог он взбираться на балкон шесто-го этажа, и вдруг нечаянно застали на балконе ворону. По описанию Ньюры, это была какая-то необыкновенно большая ворона, видимо, очень опытная в подобных кражах. Масло, например, она аккуратно освобождала от оберточной бума-ги; тарелку с ветчиной, тоже аккуратно и ста-

раясь не стучать, спихивала клювом; у курицы она съела только печенку и сердце...

Грезилась московская квартира, Ньюра, Катя... Представлялось, как воентехник Бадиков и другие товарищи ждали его возвращения, а теперь решили уже, конечно, что он погиб...

Тяжелели веки, дремалось, ухали совы, колдовали сполохи на круглых шапках сопок,— в этом прошла ночь, а чуть свет он двинулся дальше, справляясь со стрелкой компаса.

Всё казалось, что море где-то не так далеко, что вот ещё час, два, пусть три ходьбы, и он его увидит. В это хотелось верить, и в это верилось. А между тем чем дальше, тем всё труднее становилось идти: деревянели ноги.

Он понимал, что нужно бы подкрепиться, хотя не ощущал ещё сильного голода. Но когда снова вынул плитку шоколаду и положил в рот, то убедился, что не только жевать, даже и сосать было нестерпимо больно, и он бросил всю плитку в снег.

Это он сделал с досады, но потом уже не досада, а только ощущение непосильной тяжести всего, что было на нём и с ним, заставило его выкинуть из своего бортпайка две банки консервов, совершенно ему не нужных, раз он не мог жевать, но тяжёлых.

Был ли это обман чувств, или настойчивое желание убедить себя, что поступил он как следует, но несколько времени потом он шёл более бодро.

У родника, бывшего из-под тонкого льда и пропадавшего в снегах, он остановился и начал пить из горсти. Глотать было больно, однако пить очень хотелось, кроме того, холодная вода освежала рот. Около родника просидел больше часа и раза три принимался пить.



Но когда он пошёл дальше, он вздрогнул, увидев совсем недалеко от себя ожившего дога. Так показалось по первому взгляду — медленно, так же, как и он, идёт шагах в десяти в крутящейся позёмке мышастый немецкий дог.

Рука лейтенанта чуть не потянулась к пистолету, но он разглядел острые уши и пухлый хвост и понял, что это — волк.

Матёрый волк легко ставил лапы, не проваливаясь на слабом насте, и поглядывал на него, казалось бы, вполне добродушно. Шёл Свиридов, шёл рядом волк, точно старый знакомый, и лейтенанту поначалу это не казалось неприятным.

Он не знал, правда, как ведут себя полярные волки, но о своих рязанских волках он с детства слышал, что они на человека не нападают. Он пробовал останавливаться, чтобы дать волку свободу уйти куда-нибудь дальше, но волк останавливался тоже.

Между тем несколько оживленный холодной водою Свиридов снова начинал уже терять силы. Ему даже казалось, что у него жар: во всём теле начиналась ломота. Тогда он понял вдруг, что волк идёт за ним неспроста, что он, хищник, видит, насколько обессилел человек, — вот-вот упадёт, чтобы не встать больше. Тогда он станет его законной добычей.

Свиридов остановился. Волк поглядел на него и присел на задние лапы, для приличия отвернув морду.

Свиридов медленно вытащил пистолет, проговорив при этом: «Ого, тяжёлый какой!». так же медленно он поднял его и нажал гашетку. Он не целился, он выстрелил только затем, чтобы испугать волка. И хищник, действительно испуганный, помчался от него во всю мочь и пропал там, в сопках.

Позёмка же разыгралась в метель. И хуже всего вышло, что это случилось к концу дня. Надежда увидеть море было всё, чем он жил теперь, но метель била в глаза, метель крутилась около, застилала всё кругом, принесла с собой резкий холод.

Он нашёл место, где можно было сесть спиной к ветру, и, когда совсем стемнело и потом в миллионах снежинок перед ним переливисто засверкала радуга северного сияния, остро стало ему жаль того, что он оставит, замёрзнув тут.

Очень хотелось спать и страшно было заснуть. Он знал, что замерзают люди во сне: сначала приходит сон, потом смерть. Он силился убедить себя, что слишком тепло одет для того, чтобы замерзнуть, но в то же время чувствовал озноб, сменивший недавний жар.

Когда он покидал свой истребитель, то думал, что придёт к своим и потом прилетит сюда, на озеро, с воентехником Бадиковым и другими; что его ястребок будет исправлен и вновь поднимется в воздух, а может быть, исправят и немецкий бомбардировщик. Теперь ему думалось, что на озеро непременно налетят немцы.

Боль в разрезанных дёснах показалась ему теперь сильнее: все зубы ломило. Каждую небольшую тень впереди или сбоку он принимал за вернувшегося волка: сидит и смотрит, жив ли ещё человек, или уж можно начать его рвать клыками, такими же огромными, белыми, как у дога.

Представился довольно ярко тот сон, который он видел в последнюю свою ночь в землянке: мечется хохлатый жаворонок с красными от ужаса большими глазами, и слышен его умоляющий голос: «Я — жаворонок... Я умею говорить по-человечески... и вот, меня хотят изжарить!..» Потом очень непонятно как-то Катя очутилась у

него на коленях и всё допытывалась, какие бывают жаворонки и как поют... Он прижимался раненой щекой к её мягким волосам, и от этого переставала боль.

Несколько пар совиных глаз то здесь, то там около,—видел ли он или чудились они, не был твёрдо уверен в этом Свиридов. Но он почти чувствовал, как совы садились тут где-то, прилетая вместе с метелью: они помнили, — должны были помнить,— о нём с прошлой ночи, они, как и волк, не могли упустить своей добычи.

Метель бушевала всю ночь, и странно было Свиридову увидеть при первых признаках близкого рассвета, как она утихала, как порывы её всё слабели... Когда можно уже было разглядеть стрелку компаса, он пошёл снова.

Метель местами намела сугробы, местами обнажила кочки тундры, отчего идти стало труднее,— так ему казалось, но он просто обессилел,— ночной отдых если и подкрепил его, то не надолго. Непосильной тяжестью лежало на плечах кожаное пальто... Едва передвигая ноги, он думал, что бы такое выбросить на снег, чтобы было легче идти. «Пистолет?.. Нельзя,—может опять появиться около волк... Авиакompас?.. Тоже нельзя,— иначе не выйдешь к морю...» Он пошарил в кармане, нашёл там карандаш, совершенно не нужный ему теперь,— и выкинул.

Он шёл как в бреду, но всё-таки переставлял тяжёлые ноги, двигался, иногда вглядываясь туда, вперёд, где должно было показаться море. И когда оно показалось, наконец, к вечеру этого дня, он был уже до того слаб, что не почувствовал радости. Но почти тут же он заметил тёмный силуэт человека,— первого человека за эти несколько дней, и первое, что он сделал,— вытащил свой невероятно тяжёлый пистолет.

Так как последние люди, которых он видел, были немецкие лётчики, непременно хотевшие его убить, то и этот, новый, показался его затуманенным глазам тоже немцем. А через минуту он, терявший сознание от усталости, был в заботливых руках матроса Северного флота, на помощь которому подходили трое других матросов.

---

## «ХИТРАЯ ДЕВЧОНКА»

(Новелла)

Глаза у неё были светлые, смелые, а взгляд быстрый, короткий сразу дающий оценку, — это отмечал в ней всякий, кто в первый раз её видел.

Ростом она вышла невелика, — плохо питалась в детстве, — но любила говорить о себе поговоркой: «Птичка-невеличка, да коготок востёр». Небольшое лёгкое тело её было ловкое, хотя и без суетливых лишних движений. Во время сложной домашней работы тонкие детские руки её мелькали здесь и там, как бы не делая никаких усилий, однако всё бывало сделано как надо и в срок или даже гораздо раньше.

Быстрый взгляд её светлых глаз не пропускал при этом ничего, что делалось кругом, а очень чуткий слух ловил все звуки. Так, деятельно помогая матери в семье, где она была старшей из четырёх ребятишек, она в то же время знала всё и обо всех в целом доме, где было порядочно квартир.

Мать её работала ткачихой, уходила на фабрику утром, приходила к вечеру усталая, а её двенадцатилетняя старшенькая Зина мало того что кормила её приготовленным без неё обедом, но ещё и успевала при этом передать кучу разных новостей о жильцах дома — соседях.

— Ух, и хитрая же ты у меня девчонка растёшь! — сказала как-то мать Зине, глядя её русые волосы, заплетённые в две косички.

— О-о, а как же! Я — очень даже хитрая, мама! — тут же и радостно отозвалась на это Зина.

Так и пошло с тех пор и дома и по всему двору: «хитрая девчонка».

Училась она мало, — некогда было, но читать-писать всё-таки умела, а считала безошибочно, потому что сама покупала на рынке каждый день всё, что нужно было для обеда на семью в пять душ (отец её умер, когда ей было лет восемь).

Тремя младшими — двумя сестрёнками и братишкой — она командовала изо дня в день, насколько этим не тяготясь, между делом и покрикивая иногда для острастки:

— Ой, смотри у меня, а то шлёпки дам!

И младшие её слушались. И так тянулось, пока не подросла ей смена и сама она не поступила на ту же фабрику, где работала мать.

Ей было уже восемнадцать лет, когда началась война и немецкие истребители и бомбовозы загудели над их городом.

Она рыла окопы вблизи городских окраин вместе с тысячью рабочих женщин, а в городе уже рвались сброшенные бомбы и гремела ответная пальба зениток. Наконец, снизившись так, что были видны кресты на крыльях и свастика на хвосте, один воздушный разбойник открыл по ним, работницам-землекопам, стрельбу из пулемёта.

Зина не пострадала тогда сама, но около неё оказались две женщины раненые, одна убитая, и в тот же день вечером она стояла в военкомате, просясь на фронт.

— Ну, вы — такая маленькая, куда уж вам на фронт! — сказали ей там.

— Ничего подобного! — возмутилась она. — Птичка-невеличка — коготок востёр!

— Вообще очень молоды вы, — сказали ей на это и занялись другими делами.

— Восемнадцать лет уж имею, — разве мало? — спросила она и добавила не без гордости: — Кроме того, я очень хитрая, товарищ военком!

Не помогло это, — её не взяли.

Тогда, обиженная и упорная, она пробралась на фронт сама, когда линия фронта проходила от города уже всего только в тридцати километрах.

Здесь тоже сначала удивились ей, когда она заявила, что хочет ходить с бойцами в разведку, но потом всё же оставили её, хотя и не разведчиком, а санитаркой, когда узнали, что перевязывать раны она училась.

Ей выдали шинельку, плащ-палатку, наган. Она казалась в шинели мальчиком, питомцем роты. Но в первом же бою, такая маленькая и с виду бессильная, заставила она отнестись к ней серьёзно!

Казалось всем, что первый большой бой, в который она попала, должен был оглушить, ошеломить её, раздавить непомерным грохотом артиллерийских залпов, взрывами огромных снарядов, жутким звериным завываньем мин, зловещим таканьем ужаснейших машин истребления людей — пулемётов и автоматов; однако она, маленькая восемнадцатилетняя ткачиха, перенесла, не теряясь, не только это.

Пели пули кругом, но ведь она была санитарка, — ей надо было работать, надо было спасать раненых бойцов.

Как именно? — Подползать то к одному, то к другому и оттаскивать их в сравнительно безопасное место вместе с их оружием.

Большая нужна была ловкость, чтобы не

только подползти, но суметь и взяться за раненого так, чтобы удобнее было его тащить и ему чтобы не было слишком больно. Этому её никто не учил, да всех случаев при этом трудном деле нельзя ведь и предвидеть.

Она ползала под пулями и подбадривала себя: «Ничего-ничего... доползу, я — хитрая!..»

Быстрый короткий взгляд её светлых глаз оценивал каждую кочку впереди, каждый кустик, каждую ложбинку, каждую ямку: земля, только земля и была тут единственным помощником и верным другом!

В детстве любила она смотреть на муравьёв, тащивших других муравьёв в свой муравейник. Зачем они это делали,— она не знала, но наблюдала за их работой с большим любопытством. Теперь сама она была таким же муравьём.

Вот взорвалась мина шагах в двадцати,— выла, выла — и трахнула!.. Прянуло вверх широкое полотнище дыма, земли, осколков,— заволкло свет!

Рядом с раненым в обе ноги, которого Зина тащила, она прикинула к земле, точно перепёлка в виду ястреба, и несколько мгновений не чувствовала даже, жива ли она или с нею всё конечно. Но стоило только ей убедиться, что жива и даже не ранена, как уже проворно ползла дальше и тянула одной рукой раненого, другой — его винтовку.

Так, под сильным обстрелом, где прячась за груды вздыбленной бомбардировкой земли, где прикиная за кустом, где пережидая шквальный огонь в воронке, спасла она во время этого боя шестнадцать бойцов и одного командира.

Бой не был проигран, но всё же часть получила приказ отступить: она была в арьергарде, её задачей было сдерживать противника, сколько



нужно, чтобы дать возможность в порядке отодвинуться главным силам.

Отступали недалеко ночью, а рано утром Зина заметила наш подбитый танк, оставленный между новыми линиями наших и вражеских войск.

Что же делать.— подбили танк, пришлось его бросить,— ну, а вдруг в нём раненые—танкисты?

Этот вопрос не давал ей покоя. С ним обращалась она и к бойцам и к младшим командирам,— никто, конечно, не мог ей на него ответить. Только старший лейтенант Назимов, командир роты, присмотревшись к танку в бинокль, ответил определённое:

— Танк не сгорел, а подбит... Люди в нём быть могут, однако едва ли они живы.

— А если пойти посмотреть? — спросила Зина.

— Пойти бы можно, конечно, только едва ли стоит,— сказал Назимов и отошёл.

Приказа пойти к танку Зина не получила, запрета тоже. Она решила идти, так как вблизи танка не видела немцев и так как наплывал густыми волнами белый туман.

Итти, впрочем, можно было только вначале, пользуясь мелкокошесем, а потом ползти, как пришлось ей это делать во время боя.

Теперь, когда бой утих, задача показалась ей легче и проще. Как-то не хотелось ей даже и думать, что каждая пядь земли кем-то там, в занятой немцами деревне, просматривается в бинокли, подобные назимовскому, в то же время она подползала к танку, чуть редел туман, пустив в дело всю свою хитрость.

Только лисица могла бы так подкрадываться к барабаниющему лапками утреннюю зорю зайцу, как она подкралась, наконец, к танку, припавшему на правый бок и искалеченному снарядом.

Была какая-то смутная радость от удачи, что

добралась незаметно для врага, и в то же время ныло сердце: а вдруг командир прав, и в танке или никого уже нет, или только лежат убитые? Тогда напрасно, значит, она и пустилась на такой риск.

Люк был сворочен. Она влезла на танк. Трое танкистов лежали окровавленные, скорчившись и без движения. — Значит, напрасно ползла!

Всё-таки, может быть, кто-нибудь из них жив ещё... и она начала поочерёдно трясти их за плечи. Не напрасно,— один застонал, не открывая глаз!

Двое других были убиты, но третьего, тяжело раненного, Зина вытащила из танка. Он открыл глаза, посмотрел на неё мутно и удивлённо, потом застонал от боли.

— Молчи!— приказала она ему.

Туман отползал, напал, и вместе с ним могли напалзти и немцы.

Действительно, ей удалось только дотащить танкиста до кучки почерневшего от дождей сена, как возле танка, шагах в пятидесяти от сена, выросли трое немцев.

Один из них влез на танк и, повернув винтовку прикладом вниз, несколько раз подымал и опускал её яростно: умерщвлял мёртвых. Слышны были глухие звуки ударов даже и танкисту, не только Зине. Он сказал с усилием, полушопотом:

— Вот так... и нас с тобой... убьют... Ты застрели меня... а сама беги.

— Ничего, молчи,— прошептала она ему на ухо.— Не заметят!

Всем юным существом своим верила в то, что не заметят, ни за что не заметят, уйдут дальше... И то, во что так сильно верилось, случилось: немцы пошли в другую сторону, и тут же на-

хлынула новая волна белого, как вата, тумана. Тогда она захватила правой рукой правое же плечо танкиста и потащила его к своим. Когда он стонал, она зажимала ему рот и шептала: «Молчи, сейчас будем дома».

Однако это «дома» было за полтора километра, и несколько часов тащила Зина, как муравей свою ношу, раненого, сначала под прикрытием тумана, а потом, когда он поднялся, по мелколесью.

Здесь она даже рискнула взвалить его на плечи, чтобы было скорее, а когда он застонал при этом сильнее прежнего, сказала, совершенно так же, как говорила младшему братишке — в то время как ей самой было двенадцать лет:

— Молчи, а то шлёпки дам!

И она принесла его, к удивлению всех, а больше всех — старшего лейтенанта Назимова, уже считавшего её погибшей.

Уложив спасённого поудобней, она сделала ему, как сумела, первую перевязку, чтобы потом передать его врачу.

— Да вы знаете, Зина, что вы совершили? — с торжественным вопросом обратился к ней Назимов.

— Знаю, — разведку, товарищ старший лейтенант, — догадливо ответила «хитрая девчонка».

## СОДЕРЖАНИЕ

Сянопский бой .....	3
Флот и крепость .....	175
Гвардеец Коренной .....	209
Первая русская сестра.....	216
Гренадер Семён Новиков .....	225
Старый врач .....	232
Всегда .....	253
«Хитрая девчонка» .....	269

Редактор А. Вошпов  
Тех. редактор О. Чеботарева

Подписано к печати 28/XII 1945 г.  
А 21182. Объем 8 1/2 п. л., уч.-авг. л. 10,9  
Тираж 50 000 экз.

Отпечатано в типогр. № М 121 с матриц,  
изготовленных в типогр. «Известий Со-  
ветов депутатов трудящихся СССР».

**Цена 4 руб.**